



Д Ж О Н

ГОЛСУОРСИ

*СОВРЕМЕННАЯ  
КОМЕДИЯ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Джон Голсуорси  
**Современная комедия**

«ФТМ»  
«Издательство АСТ»

1924-1928

УДК 821.111-82  
ББК 84(4Вел)я44

## **Голсуорси Д.**

Современная комедия / Д. Голсуорси — «ФТМ», «Издательство АСТ», 1924-1928 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-138428-9

«Современная комедия» – вторая трилогия эпического цикла о семье Форсайтов – семье, в истории которой, как в зеркале, отразилась сама история Англии первой трети XX века. Времена меняются. Старомодные представления о любви и дружбе, верности и чести оказываются смешными, нелепыми. Женщины становятся независимыми, решительными, ироничными, а мужчины – усталыми, мудрыми и равнодушно-циничными. Над поколением «джазовых 20-х» нависла тень недавно прошедшей Первой мировой. И каждый из героев трилогии – сознательно или нет – стал, в той или иной степени, жертвой этой войны. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-82

ББК 84(4Вел)я44

ISBN 978-5-17-138428-9

© Голсуорси Д., 1924-1928

© ФТМ, 1924-1928

© Издательство АСТ, 1924-1928

## Содержание

Белая обезьяна	5
Часть первая	5
I	5
II	8
III	14
IV	17
V	20
VI	22
VII	27
VIII	31
IX	37
X	43
XI	47
XII	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Джон Голсуорси

## Современная комедия

### Белая обезьяна

*Все вперед, все вперед,  
Отступления нет,  
Победа или смерть.*

*Гей*

### Часть первая

#### I

#### Прогулка

В этот памятный день середины октября 1922 года сэра Лоренса Монт, девятого баронета, вышел из «Клуба шутников», как прозвал его Джордж Форсайт в конце восьмидесятых годов, спустился по ступеням, стертым ногами приверженцев существующего порядка вещей, повел своим острым носом по ветру и быстро засеменял тонкими ногами. Занимаясь политикой скорее по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию, с беспристрастностью, не лишенной юмора. Проходя мимо клуба «Смена», он подумал: «Да, им теперь придется попотеть! Пусть посидят без сладкого для разнообразия!»

Командоры и короли удалились из «Клуба шутников» еще до вступления туда сэра Лоренса; он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку, нет, сэр! Он не из тех людей, что отмахнулись от земельной проблемы, как только кончилась война, – брр! Однако целый час он слушал отклики на последние события, и его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полный скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим платформам и декларациям, с насмешкой отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде, которая осталась после этого знаменательного собрания. Как большинство землевладельцев, он не доверял никаким доктринам. Его единственным политическим убеждением был налог на пшеницу, и, насколько он мог судить, единомышленников у него не осталось; впрочем, он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах – другими словами, на его принцип не могли покуситься избиратели, которым приходилось платить за хлеб. «Принципы! – думал он. – Ведь au fond<sup>1</sup> – это карман!» И, черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так! Карман, разумеется, в широком смысле слова, – так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество – английская нация – сможет существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить разрушением английским кораблям и докам? В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто – ни слова! Это, видите ли, не политика! Вот проклятие! Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Никакой, ей-богу! При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабо-

---

<sup>1</sup> В сущности (фр.).

чена. Два года! Пора им подумать о детях. Опасная привычка – не заводить детей, когда от этого зависит и титул и поместье. Улыбка тронула губы и лохматые брови, похожие на путаные черные закорючки. Очень мила, удивительно привлекательна! И знает это сама! С кем только она не знакома! Львы и тигры, обезьяны и кошки – ее дом стал просто зверинцем для всяких больших и маленьких знаменитостей. Есть в этом что-то неестественное. И, глядя на одного из бронзовых британских львов на Трафальгар-сквер, сэра Лоренс подумал: «Скоро она и этого затащит к себе в дом. У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку – в доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда. Да, кстати: я обещал ей китайского посланника. Придется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов».

В конце Уайтхолла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них, – подумал он. – А Майкл со своими причудами! Впрочем, это модно – социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность! Мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней – десять пилуль на пенни!»

Миновав газетную сутолоку Чаринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэра Лоренс повернул налево, к издательству Дэнби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившем миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай» – книгу о путешествиях на Восток, и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный «Дуэт». С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от «Шутников» на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться.

Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын: после женитьбы он стал одеваться много лучше и, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой – ах да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером – идет, закинув голову, велюровая шляпа, и лицо какое тонкое!

– А, Майкл!

– Алло, Барт. Ты знаком с моим родителем, Уилфрид? Это Уилфрид Дезерт, автор «Медяков». Настоящий поэт, Барт, верно говорю! Непременно прочтите! Мы идем домой. Пойдемте с нами.

Сэр Лоренс повернул.

– Что нового у «Шутников»?

– «Le roi est mort!»<sup>2</sup> Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл, – выборы назначены на следующий месяц.

– Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о демосе.

– Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?

– А разве для вас на свете есть что-нибудь реальное, сэра?

– Да, подоходный налог.

Майкл засмеялся:

– Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры.

– Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл: отчасти это неплохо, они бы выросли немного, а? – но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве

<sup>2</sup> «Король умер!» (фр.)

они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой партии – это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа, и мы сейчас в тупике, мистер Дезерт.

– Вполне согласен, сэра.

Майкл пыхнул сигарой.

– Оба вы – старые ворчуны!

И, сняв шляпы, они прошли мимо Гробницы.

– Удивительно симптоматично – эта вот вещь, – заметил сэра Лоренс, – памятник страху... страху перед всем показным! А боязнь показного...

– Говорите, Барт, говорите, – сказал Майкл.

– Все прекрасное, все великое, все пышное – все исчезло! Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, ни большой религии, ни большого искусства – эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки.

– А сердце жаждет Байронов, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт! Что ты скажешь, Уилфрид?

– Да, мистер Дезерт, что вы скажете?

Хмурое лицо Дезерта дрогнуло.

– Наш век – век парадоксов, – проговорил он. – Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы – это социализм и Римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве – это кино. Мы помешаны на мире – и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.

Сэра Лоренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью.

– А как дела в издательстве, Майкл?

– Что ж, «Медяки» раскупаются, как горячие пирожки, и ваш «Дуэт» тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы: «Дуэт», сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников»? Должно подействовать на психологию читателя! Уилфрид предлагал: «Старик и Диззи – по радио из ада». Что вам больше нравится?

Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что все движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую, взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство, девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэра Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое бледное смуглое лицо – красивое, но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм; в одежде, в манерах – никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность; в нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше скептицизма – впрочем, он, наверно, способен на глубокие переживания! Полисмен опустил руку.

– Вы были на войне, мистер Дезерт?

– О да!

– В авиации?

– И в пехоте – всего понемногу.

– Трудновато для поэта!

– О нет! Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в Патни.

Бровь сэра Лоренса приподнялась.

– Разве?

– Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн – вот кому было раздолье писать: *ils vivaient, mais si peu*<sup>3</sup>.

– А разве нет третьего благоприятного условия?

– Какого же, сэр?

– Как бы это выразиться... ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной?

Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело.

Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.

## II Дома

Дом на Саут-сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать эмансипированным. Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом – абсолютно старинный, и старый дом – абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но он с такой необычайной быстротой впитывал копоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Реном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что датской, и два «премиленких окошечка» глядели сверху, создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери – широкой, обрамленной лавровыми деревьями в черных с золотом кадках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно-простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой массы шляп, пальто и визитных карточек. В доме было четыре ванных – и никакого подвального помещения, даже погреба. Приобретению этого дома помогло форсайтское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако Флер немедленно вошла в контакт с архитектором – сам Сомс так и не примирился с этой категорией людей – и решила, что в доме будет только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские – единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса, и недешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль – вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Флер нужен был простор – ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом, как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели; как удержать Сибли Суона, новую литературную звезду, и заполучить Гордона Минхо – старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею, о том, в каком стиле ей, собственно, надо одеваться, о том, почему у Майкла такие смешные уши, а иногда стояла, просто ни о чем не думая, а так, чуть-чуть тоскуя.

---

<sup>3</sup> Они жили, но как мало участвовали в жизни (*фр.*).

Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует «угоститься» на свободе: ведь ей еще не было двадцати одного года, и в этот час она вспоминала о своей молодости. Рядом с ней, на задних лапах, стоял Тинг-а-Линг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания.

– Хватит, Тинг-а-Линг! Довольно, душенька! *Довольно!*

Выражение мордочки Тинг-а-Линга говорило: «Ну, тогда и сама не ешь! Не мучай меня!»

Ему был год и три месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонд-стрит к двадцатому дню рождения Флер, одиннадцать месяцев назад.

Два года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации походке; несколько увеличился объем груди и бедер; талия и щиколотки стали тоньше, чуть побледнел румянец на щеках, слегка утерявших округлость, да в голосе, ставшем чуть вкрадчивее, исчезла былая мягкость.

Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова – лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, легким наклоном головы.

Пожав протянутые руки, она проговорила:

– Садитесь. Вам сливок, сэр? С сахаром, Уилфрид? Тинг и так объелся, не кормите его. Майкл, угощай! Я уже слышала о собрании у «Шутников». Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, Майкл? Агитация – такая глупость! Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот.

– Конечно, дорогая, но ведь ты не рядовой избиратель.

Флер взглянула на него. Очень мило сказано! Видя, что Уилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе – черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. Взмах темных ресниц – и Дезерт перестал кусать губы; движение шелковой ноги – и сэр Лоренс перестал смотреть на него. И, передавая чашки, Флер сказала:

– Что же, я недостаточно современна?

Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил:

– Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько древнее их.

– Упаси нас боже от поэзии! – сказал Майкл.

Но когда он увел отца посмотреть новые карикатуры Обри Грина, она сказала:

– Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Уилфрид.

Голос Дезерта потерял всякую сдержанность:

– Не все ли равно? Мне не хочется терять время на разъяснения.

– Но я хочу знать. Это звучало насмешкой.

– Насмешка? С моей стороны? Флер!

– Тогда объясните.

– Я хотел сказать, что вам присуща вся неугомность, вся практическая хватка современников, но у вас есть то, чего лишены они, Флер: способность сводить людей с ума. И я схожу с ума. Вы знаете это.

– Как бы отнесся к этому Майкл? Вы его друг!

Дезерт быстро отошел к окну.

Флер взяла Тинг-а-Линга на колени. Ей и раньше говорили такие вещи, но со стороны Уилфрида это было серьезно. Приятно, конечно, сознавать, что она владеет его сердцем. Только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что

сделает Дезерт: он способен на странные поступки. Она побаивалась – не его, нет, а этой его черты. Он вернулся к камину и сказал:

– Некрасиво, не правда ли? Да спустите вы эту проклятую собачонку, Флер, я не вижу вашего лица. Если бы вы по-настоящему любили Майкла – клянусь, я бы молчал, – но вы знаете, что это не так.

Флер холодно ответила:

– Вы очень мало знаете. Я в самом деле люблю Майкла.

Дезерт отрывисто засмеялся:

– Да, конечно, но такая любовь не идет в счет.

Флер поглядела на него:

– Нет, идет: с ней я в безопасности.

– Цветок, который мне не сорвать?

Флер кивнула.

– Наверное, Флер? Совсем, совсем наверное?

Флер пристально смотрела перед собой; ее взгляд слегка смягчился, ее веки, такой восковой белизны, опустились; она кивнула.

Дезерт медленно произнес:

– Как только поверю этому, я немедленно уеду на Восток.

– На Восток?

– Не так избито, как «уехать на Запад», но в общем – одно и то же: возврата нет.

Флер подумала: «На Восток? Как бы мне хотелось увидеть Восток! Жаль, что этого нельзя устроить, очень жаль!»

– Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая, я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю: настоящее потрясение.

– Но ведь это не моя вина, не так ли?

– Нет, ваша: вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам!

– Не понимаю, что вы хотите сказать!

Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам.

– Не будьте злокой, я слишком несчастлив.

Флер не отнимала руки от его горячих губ.

– Мне очень жаль, Уилфрид.

– Ничего, дорогая. Я пойду.

– Но вы ведь придете завтра к обеду?

Дезерт обозлился.

– Завтра? О боги – конечно, нет! Из чего я, по-вашему, сделан?

Он отшвырнул ее руку.

– Я не люблю грубости, Уилфрид.

– Ну, прощайте! Мне лучше уйти!

На ее губах трепетали слова: «И лучше больше не приходите», – но она промолчала. Расстаться с Уилфридом? Жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой, и он ушел: слышно было, как закрылась дверь. Бедный Уилфрид! Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно – и немного жутко. И вдруг, спустив Тинг-а-Линга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра! Вторая годовщина ее свадьбы! Все еще больно ей думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда – и она не останавливалась на этой мысли. К чему думать? Живешь только раз, вокруг – люди, масса дел, многого нужно добиться, взять от жизни. Не хватает, правда, одного – ну да, впрочем, если у людей это есть, так тоже ненадолго! Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность! Нет! Самое тяжелое в мире – нестерпимая обида! А кого с кем посадить завтра?

Кого бы позвать вместо Уилфрида, если Уилфрид не придет – вот глупый мальчик! Один день, один вечер – не все ли равно? Кто будет сидеть справа от нее, а кто слева? Кто изысканнее: Обри Грин или Сибли Суон? Может быть, они оба не так изысканны, как Уолтер Нэйзинг или Чарлз Эпшир? Обед на двенадцать человек – все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Черрел. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гордона Минхо – пусть будет один из старых писателей, как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Дэнби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флер быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон.

– Можно попросить леди Элисон?.. Миссис Майкл Монт... да-да. Это вы, Элисон? Говорит Флер. На завтрашний вечер Уилфрид отпадает... Скажите, не сможете ли вы привести мистера Гордона Минхо?.. Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно... Попробуете? Ну, это будет просто восхитительно!.. Вы не находите, что собрание в «Клубе шутников» было страшно интересное?.. Барт говорит, что теперь, после раскола, они все там перегрызутся... Да, как же быть с мистером Минхо? Не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо, большое спасибо... До свидания!

А если Минхо не придет – кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков; кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несты Горз или Сибли Суона. О Форсайтах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором (по крайней мере некоторые из них), но они несовременны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже. Они устарели, были слишком связаны с грустными воспоминаниями, не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, если Гордон Минхо пролетит, придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию; или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Флер перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. Гуго Солстис? Пожалуй, но вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних вещей? В доме было только старое пианино Майкла, значит, пришлось бы перейти в его кабинет. Лучше Джералд Хэнкс: они с Нестой Горз погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Значит, если не Гордон Минхо – пригласить Джералда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Элисон и Нестой. Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-а-Линга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее: черные, блестящие, очень старые глаза. Флер подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно, ужасно необходимо! Только, только... что?

Голоса! Майкл и Барт идут сюда. Барт приметил насчет Уилфрида. Ужасно наблюдательный Старый Монт. Ей всегда бывало не по себе в его обществе: он такой живой, непоседливый, – но есть в нем что-то установившееся, старинное, что-то общее с Тинг-а-Лингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи: может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи, – но невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ею, да-да!

Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать и давать ли подписи или не надо? Не правда ли, этот кубистический набросок «Натюрморт» – карикатура на правительство – невысказанно смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра! В ответ затрещала быстрая, скачущая речь: сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранной его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце: он был до того знатный и, наверно, ужасно скучный, – в особенности когда отдавал визиты верхом, в панталонах со штрипками! Он, и лорд Чарлз Карибу, и маркиз Форфар были последними «визитерами» в таком духе. Если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще при-

мерить новое платье и сделать двадцать дел, а в восемь пятнадцать начинается концерт Гуго. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Тинг-а-Линг лизал медный пол. Она подняла его: «Нельзя, миленький, фу, гадость!» Ну вот, чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь, и полетела наверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль – кровать, непохожая на кровать, и всюду зеркала. Ложе Тинг-а-Линга помещалось в углу, откуда он мог видеть целых три своих отражения. Она посадила его, сказав: «Ну, теперь сиди тихо!» Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно; хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха, их языки не умели лизать; нечего было делать с ними – поддельные существа, совершенно бесчувственные.

Сняв платье, Флер прикинула новое, придерживая его подбородком.

– Можно тебя поцеловать? – послышался голос, и двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале.

– Некогда, милый мой мальчик! Помогите мне лучше. – Она натянула платье через голову. – Застегни три верхних крючка. Тебе нравится? Ах да, Майкл! Может быть, завтра к обеду придет Гордон Минхо – Уилфрид занят. Ты его читал? Садись, расскажи мне о его вещах. Романы, правда? Какого рода?

– Ну, ему всегда есть что сказать. Хорошо описывает кошек. Конечно, он немного романтик.

– О-о! Неужели я промахнулась?

– Ничуть. Наоборот, очень удачно. Беда нашей публики в том, что говорят они очень неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе.

– А по-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют.

– Не устареют? Как бы не так!

– Уилфрид останется.

– Уилфрид? О, у него есть чувства: ненависть, жалость; желания, во всяком случае, иногда – появляются, а когда это бывает, он пишет прекрасно. Но обычно он просто пишет ни о чем – как и все остальные.

Флер поправила платье у выреза.

– Но, Майкл, если это так, то у себя мы... я встречаюсь совсем не с теми людьми, с которыми стоит.

Майкл широко улыбнулся:

– Милое мое дитя! С теми, кто в моде, всегда стоит встречаться, только надо хорошенько следить и менять их побыстрее.

– Но, Майкл, ведь ты не считаешь, что Сибли не переживет себя?

– Сиб? Конечно, нет.

– Но он так уверен, что все остальные уже отжили свой век или отживают. Ведь у него настоящий критический талант.

– Если бы я понимал в искусстве не больше Сибли, завтра же ушел бы из издательства.

– Ты понимаешь больше, чем Сибли Суон?

– Ну конечно, я больше понимаю. Вся критика Сибли сводится к высокому мнению о Сибле – и самой обыкновенной нетерпимости ко всем остальным. Он их даже не читает. Прочтет одну книгу каждого автора и говорит: «Ах, этот? Он скучноват», – или «он – моралист», или «он сентиментален», «устарел», «плетет чушь», – я сто раз это слышал. Конечно, так он говорит только о живых. С мертвыми авторами он обходится иначе. Он вечно выкапывает и канонизирует какого-нибудь покойника – этим он и прославился. В литературе всегда были такие Сиблы. Он яркий пример того, как человек может внушить о себе какое угодно мнение. Но, конечно, в литературе он не останется: он никогда ничего не создал своего – даже по ошибке.

Флер упустила нить разговора. Да, платье ей очень к лицу – прелестная линия. Можно снять – надо еще написать три письма, прежде чем одеваться.

Майкл снова заговорил:

– Ты послушай меня, Флер. Истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе – они плывут одни в своих лодочках по тихим протокам. Но из протоков выходят потоки! Ого, как я сказал! Прямо – тот! Или не совсем тот?

– Майкл, ты на моем месте сказал бы Фредерику Уилмеру, что он встретит Губерта Марсленда у меня за завтраком на будущей неделе? Будет это для него приманкой или отпугнет его?

– Марсленд – милая старая утка, а Уилмер – противный старый гусь; право, не знаю!

– Ну, будь же серьезен, Майкл, – никогда ты мне не поможешь ничего устроить. Не щекочи мне, пожалуйста, плечи!

– Дорогая, ей-богу, не знаю. У меня нет, как у тебя, таланта на такие дела. Марсленд пишет ветряные мельницы, скалы и всякое такое – я сомневаюсь, слышал ли он что-нибудь об искусстве будущего. Он просто уникам в смысле умения держаться далеко от современности. Если ты думаешь, что ему будет приятно встретиться с вертижинистом<sup>4</sup>...

– Я не спрашиваю тебя, захочется ли ему встретиться с Уилмером; я спросила тебя, захочет ли Уилмер встретиться с ним.

– Ну, Уилмер только скажет: «Люблю маленькую миссис Монт, уж очень здорово она кормит». И ты действительно хорошо кормишь, детка. А вертижинисту нужно хорошо питаться, иначе у него голова не закружится.

Перо Флер снова быстро забегало по бумаге – строчки стали чуть неразборчивее. Она пробормотала:

– По-моему, Уилфрид выручит – ведь тебя не будет. Один, два, три. Каких женщин звать?

– Для художников? Хорошеньких и толстеньких; ума не требуется.

Флер рассердилась:

– Где же мне взять толстых? Их теперь и не бывает. – Ее перо бегло застрочило:

«Милый Уилфрид, в пятницу завтрак: Уилмер, Губерт Марсленд и две женщины. Выручайте!

Всегда ваша *Флер*».

– Майкл, у тебя подбородок как сапожная щетка!

– Прости, маленькая; у тебя слишком нежные плечи. Барт сегодня дал Уилфриду замечательный совет, когда мы шли сюда.

Флер перестала писать.

– Да?

– Напомнил ему, что состояние влюбленности здорово вдохновляет поэтов.

– По какому же это поводу?

– Уилфрид жаловался, что у него стихи что-то не выходят.

– Какая чепуха! Его последние вещи лучше всего.

– Да, я тоже так считаю. А может быть, он уже предвосхитил совет? Ты не знаешь, а?

Флер взглянула через плечо ему в лицо. Нет, такое же, как всегда: открытое, добродушное, слегка похожее на лицо фавна: чуть торчащие уши, подвижные губы и ноздри.

Она медленно проговорила:

– Если ты ничего не знаешь, то никто не знает.

---

<sup>4</sup> От Vertige – головокружение (*фр.*).

Какое-то сопение помешало Майклу ответить. Тинг-а-Линг, длинный, низенький, немного приподнятый с обоих концов, стоял между ними, задрав свою черную мордочку. «Родословная у меня длинная, – казалось, говорил он, – да вот ноги короткие; как же быть?»

### III Музыка

Следуя великому руководящему правилу, Флер и Майкл пошли на концерт Гуго Солстиса не для того, чтобы испытать удовольствие, а потому, что были знакомы с композитором. Кроме того, они чувствовали, что Солстис, англичанин русско-голландского происхождения, – один из тех, кто возрождает английскую музыку, великодушно освобождая ее от мелодии и ритма и щедро наделяя литературными и математическими достоинствами. Побывав на концерте музыкантов этой школы, невозможно было не сказать, уходя: «Очень занятно!» И спать под такую обновленную английскую музыку было невозможно. Флер, любившая поспать, даже и не пыталась. Майкл попробовал и потом жаловался, что это все равно, что спать на Льежском вокзале. В этот вечер они занимали у прохода в первом ряду амфитеатра те места, на которые у Флер была своего рода естественная монополия. Видя ее здесь, Гуго и прочие могли убедиться, что и она принимает участие в английском возрождении. И отсюда легко было ускользнуть в фойе и обменяться словом «занятно!» с какими-нибудь знатоками, украшенными бачками; или, вытянув папироску из маленького золотого портсигара – свадебный подарок кузины Имоджин Кардиган, – отдохнуть за двумя-тремя затяжками. Говоря совершенно честно, Флер обладала врожденным чувством ритма, и ей было очень не по себе во время этих бесконечных «занятных» пассажей, явно изобличавших все перипетии тернистого пути композитора. Она втайне любила мелодию, и невозможность сознаться в этом, не выпустив из рук Солстиса, Баффа, Бэрдигэла, Мак-Льюиса, Клорейна и других обновителей английской музыки, иногда требовала предельного напряжения всех спартанских сторон ее натуры. Даже Майклу она не решалась «исповедаться», и ей становилось труднее, когда он, с присущим ему непочтением к авторитету, еще усилившимся от жизни в окопах и работы в издательстве, бормотал вполголоса: «Боже, ну и заверчено!» – или: «Эк его разбирает!» А ведь она знала, что Майкл гораздо лучше ее переносит эту музыку, потому что у него больше склонности к литературе и меньше танцевального зуда в пальцах ног.

Первая тема нового произведения Солстиса «Пьемонтская фантасмагория» – ради него они, собственно, и пришли – началась рядом громких арпеджий.

– Вот это да! – прошептал Майкл ей на ухо. – Мебель двигают, штуки три разом, по паркетному полу!

Невольная улыбка Флер выдала тайну, почему брак не стал для нее невыносимым. В конце концов Майкл все-таки прелесть! Обожание и живость, остроумие и преданность – такое сочетание трогало и задевало даже сердце, которое принадлежало другому, прежде чем было отдано ему. «Трогательность» без «задевания» была бы скучной; «задевание» без «трогательности» раздражало бы. В эту минуту он был особенно привлекателен. Положив руки на колени, с остекленелыми от сочувствия к Гуго глазами, наострив уши и втайне подсмеиваясь, он слушал вступление с таким видом, что Флер просто восхищалась им. Музыка, очевидно, будет «занятой», и Флер погрузилась в состояние поверхностной наблюдательности и внутренней сосредоточенности, ставшее столь обычным для нее в последнее время. Вон сидит Л. С. Д. – знаменитый драматург; она с ним не знакома – пока еще. Вид у него довольно страшный, уж очень торчат кверху волосы. Флер представила себе, как он стоит на медном полу перед одной из ее китайских картин. А вот – да, конечно! – Гордон Минхо! Только подумать, что он пришел слушать эту новую музыку! Профиль у него совершенно римский – аврелианского периода! Она оторвалась от созерцания этой древности с приятным чувством, что завтра он, быть

может, попадет в ее коллекцию, и стала рассматривать по очереди всех присутствующих – ей не хотелось пропустить кого-нибудь нужного.

«Мебель» внезапно остановилась.

– Занятно! – произнес голос у плеча Флер.

Обри Грин! Весь нереальный, словно пронизанный лунным светом: шелковистые светлые волосы, гладко зачесанные назад, и зеленоватые глаза; когда он улыбался, ей всегда казалось, что он ее «разыгрывает». Но ведь он, в конце концов, карикатурист!

– Да, занятно!

Он ускользнул. Мог бы остаться еще минутку – все равно никто не успеет подойти до исполнения песен Бэрдигэла. Вот уже выходит певец – Чарлз Паулз. Какой он толстый и решительный и как тащит маленького Бэрдигэла к роялю!

Прелестный аккомпанемент – журчащий, мелодичный!

Толстый решительный мужчина запел. Как непохоже на аккомпанемент! Мелодия, казалось, состояла из одних фальшивых нот и с математической точностью отнимала у Флер всякую возможность испытывать удовольствие. Бэрдигэл, очевидно, писал, больше всего на свете боясь, что его вещь кто-нибудь назовет певучей. Певучей! Флер понимала, насколько это слово заразительно. Оно обойдет всех, как корь, и Бэрдигэл будет изничтожен. Бедный Бэрдигэл! Конечно, песни вышли занятные. Только, как говорит Майкл, «Господи, что же это?»

Три песни! Паулз изумителен – честно работает. Ни единой ноты не взял так, чтобы было похоже на музыку! Мысли Флер вернулись к Уилфриду. Только за ним, из всех молодых поэтов, признавалось право о чем-то говорить всерьез. Это создавало ему особое положение – он как бы исходил от жизни, а не от литературы. Кроме того, он выдвинулся на войне, был сыном лорда Мэллиона, вероятно, получит Мерсеровскую премию за «Медяки». Если Уилфрид бросит ее, то упадет звезда с сияющего над ее медным полом неба. Он не имеет права так уходить от нее. Он должен научиться сдерживаться – не думать так физиологически. Нет, нельзя упускать Уилфрида, но и нельзя опять вводить в свою жизнь слезы, душераздирающие страсти, безвыходное положение, раскаяние. Она уже раз испытала все это: заглушенная тоска до сих пор служила предостережением.

Бэрдигэл раскланивался. Майкл сказал: «Выйдет покурить. Дальше – скучища!» А, Бетховен! Бедный старик Бетховен! Так устарел – даже приятно его послушать!

В коридорах и буфете только и было разговоров, что о возрождении. Юноши и молодые дамы с живыми лицами и растрепанными волосами обменивались словом «занятно!». Более солидные мужчины, похожие на отставных матадоров, загоразивали все проходы. Флер и Майкл прошли подальше и, став у стены, закурили. Флер очень осторожно курила свою крохотную папироску в малюсеньком янтарном мундштуке. Она как будто больше любовалась синеватым дымком, чем действительно курила; приходилось считаться не только с этой толпой: никогда не знаешь, с кем встретишься! Например, круг, где вращалась Элисон Черрел, – политико-литературный, все люди с широкими взглядами, но, как всегда говорит Майкл, «уверенные, что они единственные люди в мире; посмотри только, как они пишут мемуары друг о друге». Флер чувствовала, что этим людям может не понравиться, если женщины курят в общественных местах. Осторожно присоединяясь к иконоборцам, Флер никогда не забывала, что принадлежит по крайней мере двум мирам. Наблюдая все, что происходило вокруг нее, она вдруг заметила у стены человека, спрятавшего лицо за программой. «Уилфрид, – подумала она, – и притворяется, что не видит меня!» Обиженная, как ребенок, у которого отняли игрушку, она сказала:

– Вон Уилфрид, приведи его сюда, Майкл!

Майкл подошел и коснулся рукава своего друга. Показалось нахмуренное лицо Дезерта. Флер видела, как он пожал плечами, повернулся и смешался с толпой. Майкл вернулся к ней.

– Уилфрид здорово не в духе: говорит, что сегодня не годен для человеческого общества. Чудак!

До чего мужчины тупы! Оттого, что Уилфрид – его приятель, Майкл ничего не замечает, и счастье, что это так. Значит, Уилфрид действительно решил ее избегать. Ладно, посмотрим! И она сказала:

– Я устала, Майкл, поедem домой.

Он взял ее под руку.

– Бедняжка моя! Ну, пошли!

На минуту они задержались у двери, которую забыли закрыть, и смотрели, как Вуман, дирижер, изогнулся перед оркестром.

– Посмотри на него – настоящее чучело, вывешенное из окна: руки и ноги болтаются, точно набитые опилками. А погляди на Франку с ее роялем – мрачный союз!

Послышался странный звук.

– Ей-богу, мелодия! – сказал Майкл.

Капельдинер прошептал ему на ухо:

– Позвольте, сэр, я закрываю двери.

Флер мельком заметила знаменитого драматурга Л. С. Д., сидевшего с закрытыми глазами, так же прямо, как торчали его волосы. Дверь закрылась – они остались в фойе.

– Подожди здесь, дорогая, я раздобуду рикшу.

Флер спрятала подбородок в мех. С востока дул холодный ветер.

За спиной раздался голос:

– Ну, Флер, ехать мне на Восток?

Уилфрид! Воротник поднят до ушей, папироска во рту, руки в карманах, пожирает ее глазами.

– Вы глупый мальчик, Уилфрид!

– Думайте что хотите. Ехать мне на Восток?

– Нет. В воскресенье утром, в одиннадцать часов, в галерее Тейт. Мы поговорим.

– *Convenu!*<sup>5</sup>

И ушел.

Оставшись внезапно одна, Флер вдруг словно впервые посмотрела в лицо действительности. Неужели ей не справиться с Уилфридом? Подъехал автомобиль. Майкл кивнул ей, Флер села в машину.

Проезжая мимо заманчиво освещенного оазиса, где молодые дамы демонстрировали любопытным лондонцам последнее слово парижских дезабилье, Флер почувствовала, что Майкл наклонился к ней. Если она намерена сохранить Уилфрида, надо быть поласковей с Майклом. Но только...

– Не надо целовать меня посреди Пиккадилли, Майкл.

– Прости, маленькая. Конечно, это преждевременно: я собирался тебя поцеловать только у Партенеума!

Флер вспомнила, как он спал на диване в испанской гостинице в первые две недели их медового месяца; как он всегда настаивал, чтобы она не тратила на него ни пенни, а сам дарил ей все, что хотел, хотя у нее было три тысячи годового дохода, а у него только тысяча двести фунтов; как он беспокоился, когда у нее бывал насморк, и как он всегда приходил вовремя к чаю. Да, Майкл – прелесть. Но разобьется ли ее сердце, если он завтра уедет на Восток или на Запад?

Прижимаясь к нему, она сама удивлялась своему цинизму.

---

<sup>5</sup> Решено! (*фр.*)

В передней она нашла телефонограмму: «Пожалуйста, передайте миссис Монт, что я заполучила мистера Гардина Миннера. Леди Элисон».

Как приятно! Подлинная древность! Флер зажгла свет и на минуту остановилась, любуясь своей комнатой. Действительно мило! Негромкое сопение послышалось из угла. Тинг-а-Линг, рыжий на черной подушке, лежал, словно китайский лев в миниатюре, чистый, далекий от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера.

– Я тебя вижу, – сказала Флер.

Тинг-а-Линг не пошевелинулся. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. «Странно, – подумала Флер, – откуда он знает, что Майкл не придет?» И, скользнув в теплую постель, она тоже свернулась клубком и заснула.

Но среди ночи она почему-то проснулась. Зов – долгий, странный, протяжный – откуда-то с реки, из тущоб позади сквера, и воспоминание – острое, болезненное: медовый месяц, Гранада – крыши внизу, – чернь, слоновою кость, золото, оклик сторожа под окном, строки в письме Джона:

Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском  
Городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд.  
Что говорит голос – долгий, звонко-тоскливый?  
Просто ли сторож кличет, верный покой суля?  
Просто ли путника песня к лунным лучам летит?  
Нет! Влюбленное сердце плачет, лишенное счастья,  
Просто зовет: «Когда?»

Голос – а может быть, ей приснилось? Джон, Уилфрид, Майкл! Стоит ли иметь сердце!

## IV Обед

Леди Элисон Черрел, урожденная Хитфилд, дочь первого графа Кемдена и жена королевского адвоката Лайонела Черрела, еще не старого человека, приходившегося Майклу дядей, была очаровательной женщиной, воспитанной в той среде, которую принято считать центром общества. Это была группа людей неглупых, энергичных, с большим вкусом и большими деньгами. «Голубая кровь» их предков определяла их политические связи, но они держались в стороне от «Шутников» и прочих скучных мест, посещаемых представителями привилегированной касты. Эти люди – веселые, обаятельные, непринужденные – были, по мнению Майкла, «снобы, дружочек, и в эстетическом и в умственном отношении, только они никогда этого не замечают. Они считают себя гвоздем мироздания, всегда оживлены, здоровы, современны, хорошо воспитаны, умны. Они просто не могут вообразить равных себе. Но, понимаешь, воображение у них не такое уж богатое. Вся их творческая энергия уместится в пинтовой кружке. Взять хотя бы их книги – всегда они пишут о *чем-то*: о философии, спиритизме, поэзии, рыбной ловле, о себе самих; даже писать сонеты они перестают еще в юности, до двадцати пяти лет. Они знают все – кроме людей, не принадлежащих к их кругу. Да, они, конечно, работают, они хозяева, а как же иначе: ведь таких умных, таких энергичных и культурных людей нигде не найти. Но эта работа сводится к топтанию на одном месте в своем несчастном замкнутом кругу. Для них он весь мир; могло быть и хуже! Они создали свой собственный золотой век, только война его малость подпортила».

Элисон Черрел, всецело связанная с этим миром, таким остроумно-задушевым, веселым, непринужденным и уютным, жила в двух шагах от Флер, в особняке, который был по архи-

текстуре приятнее многих лондонских особняков. В сорок лет, имея троих детей, она сохранила свою незаурядную красоту, слегка поблекшую от усиленной умственной и физической деятельности. Как человек увлекающийся, она любила Майкла, несмотря на его чудаческие выпады, так что его матримониальная авантюра сразу заинтересовала ее. Флер была изящна, обладала живым природным умом – новой племянницей, безусловно, стоило заняться. Но несмотря на то что Флер была податлива и умела приспособляться к людям, она мало поддавалась обработке; она продолжала задевать любопытство леди Элисон, которая привыкла к тесному кружку избранных и испытывала какое-то острое чувство, сталкиваясь с новым поколением на медном полу в гостиной Флер. Там она встречала полную непочтительность ко всему на свете, которая, если не принимать ее всерьез, очень будоражила ее мысли. В этой гостиной она чувствовала себя почти что отсталой. Это было даже пикантно.

Приняв от Флер по телефону заказ на Гордона Минхо, леди Элисон сразу позвонила писателю. Она была с ним знакома – правда, не очень близко. Никто не был с ним близко знаком. Он был всегда любезен, вежлив, молчалив, немного скучноват и серьезен, но обладал обезоруживающей улыбкой – иногда иронической, иногда дружелюбной. Его книги были то едкими, то сентиментальными. Считалось хорошим тоном бранить его и за то и за другое – и все-таки он продолжал существовать.

Леди Элисон позвонила ему: не придет ли завтра на обед к ее племяннику, Майклу Монту, познакомиться с молодым поколением?

В его ответе прозвучал неожиданный энтузиазм:

– С удовольствием! Фрак или смокинг?

– Как мило с вашей стороны! Вам будут страшно рады. Я думаю, лучше во фраке: завтра вторая годовщина их свадьбы. – Она повесила трубку, подумав: «Должно быть, он пишет о них книгу».

Сознание ответственности заставило ее приехать рано.

Она приехала с таким чувством, что ее ждут занятные приключения: в кругах ее мужа решались большие дела, и ей было приятно переменить обстановку после целого дня суеты по поводу событий в «Клубе шутников». Ее принял один Тинг-а-Линг, сидевший спиной к камину, и удостоил только взглядом. Усевшись на изумрудно-зеленый диван, она сказала:

– Ну ты, смешной зверек, неужели не узнаешь меня после такого долгого знакомства?

Блестящие черные глаза Тинга словно говорили: «Знаю, что вы тут часто бываете; все на свете повторяется. И будущее не сулит ничего нового».

Леди Элисон задумалась. Новое поколение! Хочется ли ей, чтобы ее дочери принадлежали к нему? Ей было бы интересно поговорить об этом с мистером Минхо – перед войной они так чудесно беседовали с ним в Бичгроуе. Девять лет назад! Сибил было шесть лет, Джоун – всего четыре года! Время идет, все меняется. Новое поколение! А в чем разница? «У нас было больше традиций», – тихо проговорила она.

Легкий шум заставил ее поднять глаза, устремленные на носок туфли. Тинг-а-Линг хлопал хвостом по ковру, словно аплодируя. Голос Флер раздался у нее за спиной:

– Дорогая, я страшно опоздала. До чего мило с вашей стороны, что вы раздобыли мне мистера Минхо! Надеюсь, наши будут хорошо себя вести. Во всяком случае, сидеть он будет между вами и мной. Я его посажу у верхнего конца стола, а Майкла – напротив, между Полиной Эпшир и Эмебел Нэйзинг. Слева от вас – Сибил, справа от меня – Обри, потом Неста Горз и Уолтер Нэйзинг, а напротив них Линда Фру и Чарлз Эпшир. Всего двенадцать человек. Вы со всеми знакомы. Да, не обращайтесь внимания, если Нэйзинги и Неста будут курить в антрактах между блюдами. Эмебел обязательно будет курить. Она из Виргинии – и у нее это реакция. Надеюсь, на ней будет хоть что-нибудь надето. Майкл, впрочем, уверяет, что это ошибка, когда она слишком одета. Но когда ждешь мистера Минхо, как-то нервничаешь. Вы читали последнюю пародию Несты в «Букете»? Ужасно смешно! Совершенно ясный намек на

Л. С. Д.! Тинг, мой милый Тинг, ты хочешь остаться и посмотреть гостей? Ну, тогда забирайся повыше, не то тебе отдавят лапки. Не правда ли, он совсем китайчонок! Он придает такую законченность комнате.

Тинг-а-Линг положил нос на лапы, улегшись на изумрудную подушку.

– Мистер Гардин Миннер!

Вошел знаменитый романист, бледный и сдержанный, и, пожав обе протянутых руки, взглянул на Тинг-а-Линга.

– Какой милый! – проговорил он. – Как же ты поживаешь, дружок?

Тинг-а-Линг даже не пошевелился.

«Вы, кажется, принимаете меня за обыкновенную английскую собаку, сэр?» – как будто говорило его молчание.

– Мистер и миссис Уолтер Незон, мисс Линда Фру.

Эмебел Нэйзинг вошла первая: на шесть дюймов выше талии до светлых волос – чистый алебастр ослепительной спины, на четыре дюйма ниже колен до ослепительных туфель – чуть прикрытый алебастр ног. Знаменитый романист машинально прервал беседу с Тинг-а-Лингом.

Уолтер Нэйзинг, следовавший за женой, был намного выше ее ростом и весь в черном, выступала только узенькая белая полоска воротничка; его лицо, словно выточенное сто лет назад, слегка напоминало лицо Шелли. И литературные его произведения иногда походили на стихи этого поэта, а иногда – на прозу Марселя Пруста. «Здорово заверчено!» – как говорил Майкл.

Линда Фру, которую Флер сразу познакомила с Гордоном Минхо, принадлежала к числу тех, о чьем творчестве никогда нельзя было услышать двух одинаковых суждений. Ее книги «Пустяки» и «Неистовый дон» вызвали полный раскол во мнениях. Гениальные, по мнению одних, бездарные, по мнению других, эти книги всегда вызывали интересный спор о том, поднимает легкий налет безумия ценность искусства или снижает. Сама писательница мало обращала внимания на критику – она творила.

– Тот самый мистер Минхо! Как интересно! Я не читала ни одного вашего романа.

Флер ахнула:

– Как, ты не знаешь кошек мистера Минхо? Но ведь они изумительны. Мистер Минхо, я очень хочу познакомить вас с женой Уолтера Нэйзинга. Эмебел, это – мистер Гордон Минхо.

– О! Мистер Минхо! Замечательно! Я чуть ли не с колыбели мечтаю с вами познакомиться.

Флер услышала спокойный ответ писателя: «Ну, это еще не такой долгий срок», – и пошла навстречу Несте Горз и Сибли Суону, которые явились вдвоем, как будто жили вместе, ссорясь из-за Л. С. Д. Неста оправдывала его «задиристый» тон, Сибли уверял, что остроумие умерло вместе с эпохой Реставрации; этот человек был верен себе!

Вошел Майкл с Эпширами и Обри Грином, которых он встретил в холле. Все были в сборе.

Флер обожала безукоризненность во всем, а этот вечер был похож на бред. Удачен ли он? Минхо явно был наименее блестящим собеседником: даже Элисон говорила лучше, – но голова у него все-таки великолепная. Флер втайне надеялась, что он не уйдет слишком рано, а то кто-нибудь обязательно скажет: «Вот ископаемое!» – или: «Толст и лыс!» – прежде чем за гостем закроется дверь. Он трогательно мил, старается понравиться или, во всяком случае, не вызвать слишком сильного презрения. И конечно, в нем есть что-то большее, чем можно услышать в разговоре. После суфле из крабов он как будто увлекся беседой с Элисон, и все насчет молодежи. Флер слушала краем уха:

– Молодежь чувствует... великий поток жизни... не дает им того, что нужно... Прошлые и будущее окружены ореолом... О да! Современная жизнь обесценена сейчас... Нет... Единственное утешение для нас – мы станем когда-нибудь такой же стариной, как Конгрив, Стерн,

Дефо... и снова будем иметь успех... Почему? Что отвлекает их от общего хода жизни? Просто пресыщение... газеты... фотографии. Жизни они не видят – только читают о ней... Одни репродукции; все кажется поддельным, унылым, продажным... и молодежь говорит: «Долой эту жизнь! Дайте нам прошлое или будущее!»

Он взял несколько соленых миндалинок, и Флер увидела, что его глаза остановились на плечах Эмебел Нэйзинг. В том конце стола разговор был похож на игру в футбол – никто не держал мяч дольше, чем на один удар. Он перелетал от одного к другому. И после ряда удачных пассивок кто-нибудь протягивал руку за папироской и пускал голубое облако дыма над не покрытым скатертью обеденным столом. Флер наслаждалась великолепием своей испанской столовой – мозаичным полом, яркими фруктами из фарфора, тисненой кожей, медной отделкой и Сомсовым Гойей над мавританским диваном. Она быстро принимала мяч, когда он к ней залетал, но не брала на себя инициативы. Ее талант заключался в умении замечать все сразу. «Миссис Майкл Монт подавала» – блестящие нелепости Линды Фру, задор и поддразнивание Несты Горз, туманные намеки Обри Грина, размашистые удары Сибли Суона, маленькие хладнокровные американские вольности Эмебел Нэйзинг, забавные выражения Чарлза Эпшира, рискованные парадоксы Уолтера Нэйзинга, критические замечания Полины Эпшир, легкомысленные шутки и шпильки Майкла, даже искреннюю оживленность Элисон и молчание Гордона Минхо – все это она подавала, выставляла напоказ, все время настороженно следя, чтобы мяч разговора не коснулся земли и не замер. Да, блестящий вечер, но – успех ли это?

Когда простились последние гости и Майкл пошел провожать Элисон домой, Флер села на зеленый диван и стала думать о словах Минхо: «Молодежь не получает того, что ей нужно». Нет! Что-то не ладится. «Не ладится, правда, Тинг?» Но Тинг-а-Линг устал, и только кончик одного уха дрогнул. Флер откинулась на спинку дивана и вздохнула. Тинг-а-Линг выпрямился и, положив передние лапы к ней на колени, посмотрел ей в лицо. «Смотри на меня, – как будто говорил он. – У меня все благополучно. Я получаю то, чего хочу, и хочу того, что получаю. Сейчас я хочу спать».

– А я – нет, – сказала Флер, не двигаясь.

«Возьми меня на руки», – попросил Тинг-а-Линг.

– Да, – сказала Флер, – мне кажется... Он милый человек, но это не тот человек, Тинг.

Тинг-а-Линг устроился поудобнее на ее обнаженных руках.

«Все в порядке, – как будто говорил он, – тут у вас слишком много всяких чувств и тому подобное – в Китае их нет. Идем!»

## V

### Ева

Квартира Уилфрида Дезерта была как раз напротив картинной галереи на Корк-стрит. Являясь единственным представителем мужской половины аристократии, пишущим достойные печати стихи, он выбрал эту квартиру не за удобство, а за уединенность. Однако его «берлога» была обставлена со вкусом, с изысканностью, которая свойственна аристократическим английским семействам. Два грузовика со «всяким хламом» из Хэмширского имения старого лорда Мэллиона прибыли сюда, когда Уилфрид устраивался. Впрочем, его редко можно было застать в его гнезде, да и вообще его считали редкой птицей, и он занимал совершенно обособленное положение среди молодых литераторов, отчасти благодаря своей репутации постоянного бродяги. Он сам едва ли знал, где проводит время, где работает, – у него было что-то вроде умственной клаустрофобии, страх быть стиснутым людьми. Когда началась война, он только что окончил Итон; когда война кончилась, ему было двадцать три года – и не было на свете молодого поэта старее, чем он. Его дружба с Майклом, начавшись в госпитале, совсем было замерла, но и внезапно возобновилась, когда Майкл в 1920 году вступил в издательство

Дэнби и Уинтера, на Блэйк-стрит, Ковент-Гарден. Стихи Уилфрида вызвали в новоиспеченном издателе буйный восторг. После душевных бесед над стихами поэта, ищущего литературного пристанища, была одержана победа над издательством, уступившим настояниям Майкла. Общая радость от первой книги, написанной Уилфридом и ставшей первым изданием Майкла, увенчалась свадьбой Майкла. Лучший друг и шафер! С тех пор Дезерт, насколько умел, привязался к этой паре, и надо отдать ему справедливость – только месяц назад ему стало ясно, что притягивает его не Майкл, а Флер. Дезерт никогда не говорил о войне, и от него нельзя было услышать о том впечатлении, которое сложилось у него и которое он мог бы выразить так: «Я столько времени жил среди ужасов и смертей, я видел людей в таком неприкрашенном виде, я так нещадно изгонял из своих мыслей всякую надежду, что у меня теперь никогда не может быть ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, морали и принципам. Я слишком возненавидел людей, которые копались во всех этих умствованиях, пока я копался в грязи и крови. Иллюзии кончились. Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворяют – слова, и только слова. Я все еще сохранил здравый ум – и не особенно этому рад. Я все еще, оказывается, способен испытывать страсть; еще могу скрипеть зубами, могу улыбаться. Во мне еще сильна какая-то окопная честность, но искренна ли она, или это только привычный след былого – не знаю. Я опасен, но не так опасен, как те, кто торгует словами, принципами, теориями, всякими фанатическими бреднями за счет крови и пота других людей. Война сделала для меня только одно – научила смотреть на жизнь как на комедию. Смеяться над ней – только это и остается!»

Уйдя с концерта в пятницу вечером, он прямо прошел к себе домой и, вытянувшись во весь рост на монашеском ложе пятнадцатого века, скрашенном мягкими подушками и шелками двадцатого, закинул руки за голову и погрузился в размышления: «Так дальше жить я не хочу. Она меня околдовала. Для нее это пустое, но для меня ад. В воскресенье покончу со всем. Персия – хорошее место. Аравия – хорошее место, много крови и песка! Флер не способна просто отказаться от чего-нибудь. Но как она запутала меня! Обаянием глаз, волос, походки, звуками голоса – обаянием теплоты, аромата, блеска. Перейти границы – нет, это не для нее. А если так – что же тогда? Неужели я буду пресмыкаться перед ее китайским камином и китайской собачонкой и томиться такой тоской, такой лихорадочной жадью из-за того, что я не могу целовать ее? Нет, лучше снова летать над немецкими батареями. В воскресенье! До чего женщины любят затягивать агонию. И ведь повторится то же самое, что было сегодня днем. «Как нехорошо с вашей стороны уходить теперь, когда ваша дружба мне так нужна! Оставайтесь, будьте моим ручным котенком, Уилфрид!» Нет, дорогая, раз и навсегда надо покончить с этим. И я покончу – клянусь Богом!..»

Когда в этой галерее, где дан приют всему британскому искусству, так случайно, в воскресное утро, встретились двое перед Евой, вдыхавшей аромат райских цветов, там, кроме них обоих, было еще шестеро подвыпивших юнцов, забредших сюда явно по ошибке, служитель музея и парочка из провинции; все они, по-видимому, были лишены способности замечать что бы то ни было. Кстати, встреча эта действительно казалась совершенно невыразительной. Просто двое молодых людей из разочарованного круга общества обмениваются уничтожающими замечаниями по адресу прошлого. Дезерт своим уверенным тоном, улыбкой, светской непринужденностью никак не выдавал сердечной боли. Флер была бледнее его и интереснее. Дезерт твердил про себя: «Никакой мелодрамы – только не это!» А Флер думала: «Если смогу заставить его всегда быть вот таким обыкновенным, я его не потеряю, потому что он не уйдет без настоящей вспышки».

Только когда они во второй раз оказались перед Евой, Уилфрид проговорил:

– Не знаю, зачем вы просили меня прийти, Флер. Я делаю глупость, что даю себя на растерзание. Я вполне понимаю ваши чувства. Я для вас вроде экземпляра эпохи Мин, с которым вам жалко расстаться. Но я вряд ли гожусь для этого – вот и все, что остается сказать.

– Какие ужасные вещи вы говорите, Уилфрид!

– Ну вот! Итак, мы расстаемся. Дайте лапку!

Его глаза – красивые потемневшие глаза – трагически противоречили улыбающимся губам, и Флер, запинаясь, сказала:

– Уилфрид... я... я не знаю. Дайте мне подумать. Мне слишком тяжело, когда вы несчастны. Не уезжайте. Может быть, я... я тоже буду несчастна. Я... я сама не знаю.

Горькая мысль мелькнула у Дезерта: «Она не может меня отпустить – не умеет». Но он проговорил очень мягко:

– Не грустите, дитя мое. Вы забудете все это через две недели. Я вам что-нибудь пришлю в утешение. Почему бы мне не выбрать Китай – не все ли равно, куда ехать? Я вам пришлю настоящий экземпляр для китайской коллекции – более ценный, чем вот этот.

– Вы меня оскорбляете! Не надо! – страстно сказала Флер.

– Простите. Я не хочу сердить вас на прощание.

– Чего же вы от меня хотите?

– Ну послушайте! Зачем повторять все сначала! А кроме того, я все время с пятницы думаю об этом. Мне ничего не надо, Флер, – только благословите меня и дайте мне руку. Ну?

Флер спрятала руку за спину. Это слишком оскорбительно! Он принимает ее за хладнокровную кокетку, за жадную кошку, которая терзает, играя, мышей, но есть не собирается!

– Вы думаете, я сделана из льда? – спросила она и прикусила верхнюю губу. – Так нет же!

Дезерт посмотрел на нее: его глаза стали совсем несчастными.

– Я не хотел задеть ваше самолюбие, – сказал он. – Оставим это, Флер. Не стоит.

Флер отвернулась и устремила взгляд на Еву – такая здоровая женщина, беззаботная, жадно вдыхавшая полной грудью аромат цветов! Почему бы не быть такой вот беззаботной, не срывать все по пути? Не так уж много в мире любви, чтобы проходить мимо, не сорвав, не вдохнув ее. Убежать! Уехать с ним на Восток! Нет, конечно, она не способна на такую безумную выходку. Но может быть... не все ли равно: тот ли, другой ли, – если ни одного из них не любишь по-настоящему!

Из-под опущенных белых век, сквозь темные ресницы Флер видела выражение его лица, видела, что он стоит неподвижнее статуи, и вдруг сказала:

– Вы сделаете глупость, если уедете! Подождите! – И, не прибавив ни слова, не взглянув, она быстро ушла, а Дезерт стоял, как оглушенный, перед Евой, жадно рвущей цветы.

## VI

### Старый Форсайт и Старый Монт

Флер была в таком смятении, что второпях чуть не наступила на ногу одному весьма знакомому человеку, стоявшему перед картиной Альма-Тадемы в какой-то унылой тревоге, как будто задумавшись над изменчивостью рыночных цен.

– Папа! Ты разве в городе? Пойдем к нам завтракать, я страшно спешу домой.

Взяв его под руку и стараясь загородить от него Еву, она увела его, думая: «Видел ли он нас? Мог ли заметить?»

– Ты тепло одета? – пробурчал Сомс.

– Очень!

– Верь вам, женщинам! Ветер с востока – а ты посмотри на свою шею! Право, не понимаю.

– Зато я понимаю, милый.

Серые глаза Сомса одобрительно осмотрели ее с ног до головы.

– Что ты здесь делала? – спросил он.

И Флер подумала: «Слава богу, не видел, иначе ни за что бы не спросил», – и ответила:

– Я просто интересуюсь искусством, так же как и ты, милый.

– А я остановился у твоей тетки на Грин-стрит. Этот восточный ветер отражается на моей печени. А как твой... как Майкл?

– О, прекрасно – изредка хандрит. У нас вчера был званый обед.

Годовщина свадьбы! Реализм Форсайтов заставил его пристально заглянуть в глаза Флер.

Опуская руку в карман пальто, он сказал:

– Я нес тебе подарок.

Флер увидела что-то плоское, завернутое в розовую папиросную бумагу.

– Дорогой мой, а что это?

Сомс снова спрятал пакетик в карман.

– После посмотрим. Кто-нибудь у тебя завтракает?

– Только Барт.

– Старый Монт? О господи!

– Разве тебе не нравится Барт, милый?

– Нравится? У меня с ним нет ничего общего.

– Я думала, что вы как будто сходитесь в политических вопросах.

– Он реакционер, – сказал Сомс.

– А ты кто, дорогой?

– Я? А зачем мне быть кем-нибудь?

И в этих словах сказала вся его политическая программа: не вмешиваться ни во что; чем старше он становился, тем больше считал, что это единственно правильная позиция для каждого здравомыслящего человека.

– А как мама?

– Прекрасно выглядит. Я ее совершенно не вижу – у нее гостит ее мамаша, она целыми днями в бегах.

Сомс никогда не называл мадам Ламот бабушкой Флер – чем меньше его дочь будет иметь дел со своей французской родней, тем лучше.

– Ах! – воскликнула Флер. – Вот Тинг и кошка!

Тинг-а-Линг, вышедший на прогулку, рвался на поводке из рук горничной и отчаянно фыркал, пытаясь влезть на решетку, где сидела черная кошка, вся ощерившись, сверкая глазами.

– Дайте мне его, Элен. Иди к маме, милый.

И Тинг-а-Линг пошел: вырваться все равно было нельзя, – но все время оборачивался, фыркая и скаля зубы.

– Люблю, когда он такой естественный, – сказала Флер.

– Выброшенные деньги – такая собака, – заметил Сомс. – Тебе надо было купить бульдога – пусть бы спал в холле. Нет конца грабёжам. У тети украли дверной молоток.

– Я бы не рассталась с Тингом и за сто молотков.

– В один прекрасный день у тебя и его украдут – эта порода в моде!

Флер открыла дверь.

– Ой, Барт уже пришел!

Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья, на страх моли.

Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс посмотрел на них. Они были до смешного одинаковые – высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена.

– Так вот, – сказал он, вынимая розовый пакетик из кармана, – не знаю, понравится ли тебе, посмотри!

Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов.

– О, какая прелесть! – обрадовалась Флер.

– Венера, выходящая из морской пены, или что-то в этом духе, – проворчал Сомс. – Редкость. Нужно ее смотреть при сильном освещении.

– Но она очаровательна. Я сейчас же ее надену.

Венера! Если бы папа только знал! Она обвила его шею руками, чтобы скрыть смущение. Сомс с обычной сдержанностью позволил ей потереться щекой о его гладко выбритое лицо. Зачем излишние проявления любви, когда они оба и так знают, что его чувство вдвое сильнее чувства Флер?

– Ну, надень, – сказал он, – посмотрим.

Флер приколола опал у ворота, глядя на себя в старинное, в лакированной раме зеркало.

– Изумительно! Спасибо тебе, дорогой. Да, твой галстук в порядке. Мне нравятся эти белые полосочки. Ты всегда носи его к черному. Ну, пойдём! – И она потянула его за собой в китайскую комнату. Там никого не было. – Барт, наверно, наверху у Майкла – обсуждает свою новую книгу.

– В его годы – писать! – удивился Сомс.

– Миленький, да он на год моложе тебя!

– Но я-то не пишу. Не так глуп. Ну а у тебя завелись еще какие-нибудь эдакие новомодные знакомые?

– Только один. Гордон Минхо, писатель.

– Тоже из новых?

– Что ты, милый! Неужели ты не слышал о Гордоне Минхо? Он стар как мир.

– Все они для меня одинаковы, – проворчал Сомс. – Он на хорошем счету?

– Да, я думаю, что его годовой доход побольше твоего. Он почти классик – ему для этого остается только умереть.

– Надо будет достать какую-нибудь из его книг и почитать. Как ты его назвала?

– Ты достань «Рыбы и рыбки» Гордона Минхо. Запомнишь, правда? А-а, вот и они! Майкл, посмотри, что папа мне подарил.

Взяв его руку, она приложила ее к опалу на своей шее. «Пусть они оба видят, в каких мы хороших отношениях», – подумала она. Хотя отец и не видел ее с Уилфридом в галерее, но совесть ей подсказывала: «Укрепляй свою репутацию – неизвестно, какая поддержка понадобится тебе в будущем».

Украдкой она наблюдала за стариками. Встречи Старого Монта со Старым Форсайтом, как называл ее отца Барт, говоря о нем с Майклом, вызывали у нее желание смеяться – совершенно неизвестно почему. Барт знал все – но все его знания были словно прекрасно переплетенные и аккуратно изданные в духе восемнадцатого века томики. Ее отец знал только то, что ему было выгодно знать, но его знания не были систематизированы и не входили ни в какие рамки. Если он и принадлежал к концу Викторианской эпохи, то все же умел, когда было нужно, пользоваться достижениями позднейших периодов. Старый Монт верил в традиции, Старый Форсайт – ничуть. Зоркая Флер давно подметила разницу в пользу своего отца. Однако разговоры Старого Монта были много современнее, живее, поверхностнее, язвительнее, менее связаны с точной информацией, а речь Сомса всегда была сжата, деловита. Просто невозможно сказать, который из них лучший музейный экспонат. И оба так хорошо сохранились!

Они, собственно, даже не поздоровались, только Сомс пробурчал что-то о погоде. И почти сразу все принялись за воскресный завтрак – Флер, после длительных стараний, удалось совершенно лишить его обычного британского характера. И действительно, им был подан салат из омаров, ризотто из цыплячьих печенок, омлет с ромом и десерт настолько испанского вида, как только было возможно.

– Я сегодня была у Тейта, – проговорила Флер. – Право, по-моему, это трогательное зрелище.

– Трогательное? – фыркнул Сомс.

– Флер хочет сказать, сэр, что видеть сразу так много старых английских картин – это все равно что смотреть на выставку младенцев.

– Не понимаю, – сухо возразил Сомс. – Там есть прекрасные работы.

– Но не «взрослые»!

– А вы, молодежь, принимаете всякое сумасшедшее умничанье за зрелость.

– Нет, папа, Майкл не то хочет сказать. Ведь правда, что у английской живописи еще не прорезались зубы мудрости. Сразу видишь разницу между английской и любой континентальной живописью.

– И благодарение Богу за это! – перебил сэр Лоренс. – Искусство нашей страны прекрасно своей невинностью. Мы самая старая страна в политическом отношении и самая юная – в эстетическом. Что вы скажете на это, Форсайт?

– Тернер для меня достаточно стар и умен, – коротко бросил Сомс. – Вы придете на заседание правления ОГС во вторник?

– Во вторник? Как будто мы собирались поохотиться, Майкл?

Сомс проворчал:

– Придется с этим подождать. Мы утверждаем отчет.

Благодаря влиянию Старого Монта Сомс попал в правление одного из богатейших страховых предприятий: Общества гарантийного страхования, – и, по правде говоря, чувствовал себя там не совсем уверенно. Несмотря на то что закон о страховании был одним из надежнейших в мире, появились обстоятельства, которые причиняли ему беспокойство. Сомс покосился через стол. Весьма легковесен этот узколобый, мохнатобровый баронетишка – вроде своего сына! И Сомс внезапно добавил:

– Я не вполне спокоен. Если бы знал раньше, как этот Элдерсон ведет дела, сомневаюсь, что вошел бы в правление.

Лицо Старого Монта расплылось так, что казалось обе половинки разойдутся.

– Элдерсон! Его дед был у моего деда агентом по выборам во время билля о парламентской реформе; он провел его через самые коррумпированные выборы, какие когда-либо имели место, купил все голоса, перецеловал всех фермерских жен. Великие времена, Форсайт, великие времена!

– И они прошли, – сказал Сомс. – Вообще я считаю, что нельзя так доверять одному человеку, как мы доверяем Элдерсону. Не нравятся мне эти иностранные страховки.

– Что вы, дорогой мой Форсайт! Этот Элдерсон – первоклассный ум. Я знаю его с детства, мы вместе учились в Уинчестере.

Сомс глухо заворчал. В этом ответе Старого Монта крылась главная причина его беспокойства. Члены правления все словно учились вместе в Уинчестере. Тут-то и зарыта собака! Они все до того почтенны, что не решаются взять под сомнение не только друг друга, но даже свои собственные коллективные действия. Пуще ошибок, пуще обмана они боятся выказать недоверие друг к другу. И это естественно: недоверие друг к другу есть зло непосредственное. А, как известно, непосредственных неприятностей и стараются избегать. И в самом деле, только привычка, унаследованная Сомсом от своего отца Джемса: привычка лежать без сна между двумя и четырьмя часами ночи, когда из кокона смутного опасения так легко вылетает бабочка страха, – заставляла его беспокоиться. Конечно, ОГС было столь внушительным предприятием и сам Сомс был так недавно с ним связан, что явно преждевременно было чутать недоброе, тем более что ему пришлось бы уйти из правления и потерять тысячу в год, которую он получал там, если бы поднял тревогу без всякой причины. А что, если причина все же есть? Вот в чем беда! А тут еще этот Старый Монт сидит и болтает об охоте и своем дедушке. Слнш-

ком узкий лоб у этого человека! И, невесело подумав: «Никто из них, даже моя родная дочь, не способен ничего принимать всерьез», – он окончательно умолк. Возня у локтя заставила его очнуться – это собачонка вскочила на стул между ним и Флер! Кажется, ждет, чтоб он дал ей что-нибудь? У нее скоро глаза выскочат. И Сомс сказал:

– Ну а тебе что нужно? – Как это животное смотрит на него своими пуговицами для башмаков! – На, – сказал он, протягивая собаке соленую миндалину. – Не ешь их, верно?

Но Тинг-а-Линг съел.

– Он просто обожает миндаль, папочка. Правда, мой миленький?

Тинг-а-Линг поднял глаза на Сомса, и у того появилось странное ощущение. «По-моему, этот звереныш меня любит, – подумал он, – всегда на меня смотрит». Он дотронулся до носа Тинга концом пальца. Тинг-а-Линг слегка лизнул палец своим загнутым черноватым язычком.

– Бедняга! – непроизвольно сорвалось у Сомса, и он обернулся к Старому Монту: – Забудьте, что я говорил.

– Дорогой мой Форсайт, а что, собственно, вы сказали?

Господи помилуй! И он сидит в правлении рядом с таким человеком! Что заставило его принять этот пост – один Бог знает: ни деньги, ни лишние заботы ему не были нужны. Как только он стал одним из директоров, вся его родня – Уинифрид и другие – стала покупать акции, чтобы заработать на подоходный налог: семь процентов с привилегированных акций, девять – с обычных вместо тех верных пяти, которыми им следовало бы довольствоваться. Вот так всегда: он не может сделать ни шагу, чтобы за ним не увязались люди. Ведь он был всегда таким верным, таким прекрасным советником в путаных денежных делах. И теперь, в его годы, такое беспокойство! В поисках утешения его глаза остановились на опале у шеи Флер – красивая вещь, красивая шея! Да! У нее совсем счастливый вид – забыла свое несчастное увлечение, как-никак два года прошло. За одно это стоит благодарить судьбу. Теперь ей нужен ребенок, чтобы сделать ее устойчивее во всей этой модной суете, среди грошовых писак, художников и музыкантов. Распушенная публика. Впрочем, у Флер умная головка. Если у нее будет ребенок, надо будет положить на ее имя еще двадцать тысяч. У ее матери одно достоинство: в денежных делах очень аккуратна, – хорошая французская черта. И Флер, насколько ему известно, тоже знает цену деньгам. Что такое? До его слуха долетело слово «Гойя». Выходит новая его биография? Гм... Это подтвердило медленно крепнувшее в нем убеждение, что Гойя снова на вершине славы.

– Пожалуй, расстанусь с этой вещью, – сказал он, указывая на картину. – Тут сейчас есть один аргентинец.

– Продать вашего Гойю, сэр? – удивился Майкл. – Вы только подумайте, как все сейчас завидуют вам.

– За всем не угнаться, – сказал Сомс.

– Репродукция, которую мы сделали для новой биографии, вышла изумительно. «Собственность Сомса Форсайта, эсквайра». Дайте нам сначала хоть выпустить книгу, сэр.

– Тень или сущность, а? Форсайт?

Узколобий баронетишка – насмехается он, что ли?

– У меня нет родового поместья, – сказал он.

– Зато у нас есть, сэр, – ввернул Майкл. – Вы могли бы завещать картину Флер.

– Посмотрим, заслужит ли она, – сказал Сомс и посмотрел на дочь.

Флер редко краснела: она просто взяла Тинг-а-Линга на руки и встала из-за испанского стола. Майкл пошел за ней.

– Кофе в комнате рядом, – сказал он.

Старый Форсайт и Старый Монт встали, вытирая усы.

## VII

### Старый Монт и Старый Форсайт

Контора ОГС находилась недалеко от Геральдического управления. Сомс, знавший, что «три червлёные пряжки на черном поле вправо» и «натурального цвета фазан» за немалую мзду были получены его дядей Суизином в шестидесятых годах прошлого века, всегда презрительно отзывался об этом учреждении, пока, примерно год назад, его не поразила фамилия Голдинг, попавшаяся ему в книге, которую он рассеянно просматривал в «Клубе знатоков». Автор пытался доказать, что Шекспир в действительности был Эдуард де Вир, граф Оксфорд. Мать графа была урожденная Голдинг, и мать Сомса – тоже! Совпадение поразило его, и он стал читать дальше. Вскоре, правда, не уверенный в правильности ее основных выводов, он отложил книгу, но у него определенно зародилось любопытство: не приходится ли он родственником Шекспиру? Даже если считать, что граф не был поэтом, все же Сомс чувствовал, что такое родство только почетно, хотя насколько ему удалось выяснить, граф Оксфорд был темной личностью. Когда попал в правление ОГС и раз в две недели, по вторникам, стал проходить мимо этого учреждения, Сомс думал: «Денег я на это тратить не стану, но как-нибудь загляну сюда». А когда заглянул, сам удивился, насколько это его захватило. Проследить родословную матери оказалось чем-то вроде уголовного расследования: почти так же запутанно и совершенно так же дорого. С форсайтским упорством он не мог уже остановиться в своих поисках матери Шекспира де Вир, даже если бы она оказалась только дальней родней. К несчастью, он никак не мог проникнуть дальше некоего Уильяма Голдинга, времен Оливера Кромвеля, по роду занятий ингерера. Сомс даже боялся разузнать, – что это, в сущности, за профессия. Надо было раскопать еще четыре поколения – и он тратил все больше денег и все больше терял надежду что-нибудь получить за них. Вот почему во вторник, после завтрака у Флер, он по дороге в правление так косо смотрел на старое здание. Еще две бессонные ночи до того взвинтили его, что он решил больше не скрывать своих подозрений и выяснить, как обстоят дела в ОГС. И неожиданное напоминание о том, что он тратит деньги как попало, когда в будущем, пусть отдаленном, придется, чего доброго, выполнять финансовые обязательства, совершенно натянуло его и без того напряженные нервы. Отказавшись от лифта и медленно поднимаясь на второй этаж, он снова перебирал всех членов правления. Старого лорда Фонтеню держали там, конечно, только ради имени: он редко посещал заседания и был, как теперь говорили... м-м-м... пустым местом. Председатель сэръ Льюк Шерман, казалось, всегда заботился только о том, чтобы его не приняли за еврея. Нос у него был прямой, но веки внушали подозрение. Его фамилия была безукоризненна, зато имя – сомнительно; голосу он придавал нарочитую грубоватость, зато его платье имело подозрительную склонность к блеску. А в общем, это был человек, о котором, как чувствовал Сомс, нельзя было сказать, несмотря на весь его ум, что он относится к делу вполне серьезно. Что касается Старого Монта – ну какая польза правлению от девятого баронета? Хью Мэйрик, королевский адвокат – последний из троицы, которая «вместе училась», – был, безусловно, на месте в суде, но заниматься делами не имел ни времени, ни склонности. Оставался этот обращенный квакер, старый Кэтберт Мозергилл, чья фамилия в течение прошлого столетия стала нарицательной для обозначения честности и успеха в делах, так что до сих пор Мозергиллов выбирали почти автоматически во все правления. Это был глуховатый, приятный, чистенький старичок, необычайно кроткий – и ничего больше. Абсолютно честная публика, несомненно, но совершенно поверхностная. Никто из них по-настоящему не интересуется делом. И все они в руках у Элдерсона, кроме Шермана, пожалуй, да и тот ненадежен! А сам Элдерсон – умница, артист в своем роде; с самого начала был директором-распорядителем и знает дело до мельчайших подробностей. Да! В этом все горе! Он завоевал себе престиж своими знаниями, годами успеха; все заискивают перед ним – и неудивительно!

Плохо то, что такой человек никогда не признается в своей ошибке, потому что это разрушило бы представление о его непогрешимости. Сомс считал себя достаточно непогрешимым, чтобы знать, как неприятно в чем бы то ни было признаваться. Десять месяцев назад, когда он вступил в правление, все, казалось, шло полным ходом: на бирже падение цен достигло предела – по крайней мере все так считали, – и поэтому гарантийное страхование заграничных контрактов, предложенное Элдерсоном с год назад, представлялось всем, при некотором подъеме на бирже, самой блестящей из всех возможностей. И теперь, через год, Сомс смутно подозревал, что никто не знает в точности, как обстоят дела, а до общего собрания осталось всего шесть недель! Пожалуй, даже Элдерсон ничего не знает, а если и знает, то упорно держит про себя те сведения, которые по праву принадлежат всему директорату.

Сомс вошел в кабинет правления без улыбки. Все налицо, даже лорд Фонтеной и Старый Монт, – ага, отказался от своей охоты! Сомс сел поодаль, в кресло у камина. Глядя на Элдерсона, он внезапно совершенно отчетливо понял всю прочность положения Элдерсона и всю непрочность ОГС. При неустойчивости валюты они никак не могут точно установить свои обязательства – они просто играют вслепую. Слушая протокол предыдущего заседания и очередные дела, подперев подбородок рукой, Сомс переводил глаза с одного на другого – старый Мозергилл, Элдерсон, Монт напротив, Шерман на месте председателя, Фонтеной, спиной к нему Мэйрик – решающее заседание правления в этом году. Он не может, не должен ставить себя в ложное положение. Он не имеет права впервые встретиться с держателями акций, не запасшись точными сведениями о положении дел. Он снова взглянул на Элдерсона: приторная физиономия, лысая голова, как у Юлия Цезаря, – ничего такого, что внушало бы излишний оптимизм или излишнее недоверие: пожалуй, даже слегка похож на старого дядю Николаса Форсайта, чьи дела всегда служили примером позапрошлему поколению. Когда директор-распорядитель окончил свой доклад, Сомс уставился на розовое лицо сонного старого Мозергилла и сказал:

– Я считаю, что этот отчет неточно освещает наше положение. Я считаю нужным собрать правление через неделю, господин председатель, и в течение этой недели каждого члена правления необходимо снабдить точными сведениями об иностранных контрактах, которые не истекают в текущем финансовом году. Я заметил, что все они попали под общую рубрику обязательств. Меня это не удовлетворяет. Они должны быть выделены совершенно особо. – И, переведя взгляд мимо Элдерсона прямо на лицо Старого Монта, он продолжил: – Если в будущем году положение на континенте не изменится к лучшему – в чем я сильно сомневаюсь, – то вполне ожидаемо, что эти сделки заведут нас в тупик.

Шарканье подошв, движение ног, откашливания, какими обычно выражается смутное чувство обиды, встретили слова «в тупик», и Сомс почувствовал что-то вроде удовлетворения. Он встряхнул их сонное благодущие, заставил испытать те опасения, от которых сам так страдал в последнее время.

– Мы всегда все наши обязательства рассматриваем под общей рубрикой, мистер Форсайт.

Какой наивный тип!

– И по-моему, напрасно. Страхование иностранных контрактов – дело новое. И если я верно понимаю вас, то нам, вместо того чтобы выплачивать дивиденды, надо отложить прибыли этого года на случай убытков в будущем году.

Снова движение и шарканье.

– Дорогой сэр, это абсурдно!

Бульдог, сидевший в Сомсе, зарычал:

– Вы так думаете? Получу я эти сведения или нет?

– Разумеется, правление может получить все сведения, какие пожелает. Но разрешите мне заметить по общему вопросу, что тут может идти речь только об оценке обязательств. А мы всегда были весьма осторожны в наших оценках.

– Тут возможны разные мнения, – сказал Сомс, – и мне кажется, важнее всего узнать мнение директоров, после того как они тщательно обсудят цифровые данные.

Заговорил Старый Монт:

– Дорогой мой Форсайт, подробный разбор каждого контракта отнял бы у нас целую неделю и ничего бы не дал; мы можем только обсудить итоги.

– Из этих отчетов, – сказал Сомс, – нам не видно соотношение: в какой именно степени мы рискуем при страховании заграничных и отечественных контрактов, – а при нынешнем положении вещей это очень важно.

Заговорил председатель:

– Вероятно, это не встретит препятствий, Элдерсон? Но во всяком случае, мистер Форсайт, нельзя же в этом году лишать людей дивидендов в предвидении неудач, которых, как мы надеемся, не будет.

– Не знаю, – сказал Сомс. – Мы собрались здесь, чтобы выработать план действий согласно здравому смыслу, и должны иметь полнейшую возможность это сделать. Это мой главный довод. Мы недостаточно информированы.

«Наивный тип» заговорил снова:

– Мистер Форсайт как будто высказывает недостаток доверия по отношению к руководству?

Ага, как будто берет быка за рога!

– Получу я эти сведения?

Голос старенького Мозергилла уютно заворковал в тишине:

– Заседание, конечно, можно бы отложить, господин председатель. Я сам мог бы приехать в крайнем случае. Может быть, мы все могли бы присутствовать. Конечно, времена нынче очень необычные – мы не должны рисковать без особой необходимости. Практика иностранных контрактов – вещь для нас, без сомнения, несколько новая. Пока что у нас нет оснований жаловаться на результаты. И право же, мы все с величайшим доверием относимся к нашему директору-распорядителю. И все-таки, раз мистер Форсайт требует этой информации, надо бы нам, по моему мнению, получить ее. Как вы полагаете, милорд?

– Я не могу прийти на следующей неделе. Согласен с председателем, что совершенно излишне отказываться от дивидендов в этом году. Зачем подымать тревогу, пока нет оснований? Когда будет опубликован отчет, Элдерсон?

– Если все пойдет нормально, то в конце недели.

– Сейчас не нормальное время, – сказал Сомс. – Короче говоря, если я не получу точной информации, то буду вынужден подать в отставку.

Он прекрасно видел, что они думают: «Новичок – и подымает такой шум!» Они охотно приняли бы его отставку – хотя это было бы не совсем удобно перед общим собранием, если только они не смогут сослаться на «болезнь его жены» или на другую уважительную причину, а уж он постарается не дать им такой возможности!

Председатель холодно сказал:

– Хорошо, отложим заседание правления до следующего вторника; вы сможете представить нам эти данные, Элдерсон?

– Конечно!

В голове у Сомса мелькнуло: «Надо бы потребовать ревизии», – но, оглядевшись, он решил, что пожалуй, не стоит заходить слишком далеко, раз он собирается остаться в правлении (а желания уйти у него нет – в конце концов это прекрасное место, и тысяча в год!). Да. Не надо перегибать палку!

Уходя, Сомс чувствовал, что его триумф сомнителен был даже не совсем уверен, принес ли тот какую-нибудь пользу. Его выступление только сплотило всех, кто «вместе учился», вокруг Элдерсона. Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться, кроме какого-то внутреннего беспокойства, которое при ближайшем рассмотрении просто оказывалось желанием активнее участвовать в деле, а между тем двух директоров-распорядителей быть не может – и своему директору надо верить.

Голос за его спиной застрекотал:

– Ну, Форсайт, вы нас прямо поразили вашим ультиматумом. Первый раз на моей памяти в правлении случается такая вещь.

– Сонное царство, – сказал Сомс.

– Да, я там обычно дремлю. Там всегда к концу такая духота. Лучше бы я поехал на охоту. Даже в такое время года это приятное занятие.

Неисправимо легкомыслен этот болтун баронет!

– Кстати, Форсайт, я давно хотел вам сказать. Это современное нежелание иметь детей и всякие эти штуки начинают внушать беспокойство. Мы не королевская фамилия, но не согласны ли вы, что пора позаботиться о наследнике?

Сомс был согласен, но не желал говорить на такую щекотливую тему в связи со своей дочерью.

– Времени еще много, – пробормотал он.

– Не нравится мне эта собачка, Форсайт.

Сомс удивленно посмотрел на него.

– Собака? – сказал он. – А какое она имеет отношение?

– Я считаю, что сначала нужен ребенок, а потом уже собака. Собаки и поэты отвлекают внимание молодых женщин. У моей бабушки к двадцати семи годам было пятеро детей. Она была урожденная Монтжой. Удивительно плодовитая семья! Вы их помните? Семь сестер Монтжой, все красавицы. У старика Монтжоя было сорок семь внуков. Теперь этого не бывает, Форсайт!

– Страна и так перенаселена, – угрюмо сказал Сомс.

– Не той породой, какой нужно. Надо бы их поменьше, а наших – побольше. Это стоило бы ввести законодательным путем.

– Поговорите с вашим сыном!

– О, да ведь они, знаете ли, считают нас ископаемыми. Если бы мы могли хоть указать им смысл жизни. Но это трудно, Форсайт, очень трудно!

– У них есть все, что им нужно, – сказал Сомс.

– Недостаточно, дорогой мой Форсайт, недостаточно. Мировая конъюнктура действует на нервы молодежи. Англии – крышка, говорят они, и Европе – крышка. Раю тоже крышка, и аду – тоже. Нет будущего ни в чем, кроме воздуха. А размножаться в воздухе нельзя... во всяком случае, я сомневаюсь в этом – трудности возникают немалые!

Сомс фыркнул и сказал:

– Если бы только журналистам заткнуть глотки, – в последнее время, когда в газетах перестали писать каждый день про всякие страхи, Сомс снова испытывал здоровое форсайтское чувство безопасности. – Надо нам только держаться подальше от Европы.

– Держаться подальше и не дать вышибить себя с ринга! Форсайт, мне кажется, вы нашли правильный путь! Быть в хороших отношениях со Скандинавией, Голландией, Испанией, Италией, Турцией – со всеми окраинными странами, куда мы можем пройти морем, – а остальные пускай несут свой жребий. Это мысль!..

Как этот человек трещит!

– Я не политик, – сказал Сомс.

– Держаться на ринге! Новая формула! Мы к этому бессознательно и шли. А что касается торговли... говорить, что мы не можем жить, не торгуя с той или другой страной, – это чепуха, дорогой мой Форсайт. Мир велик – отлично можем!

– Ничего в этом не понимаю, – сказал Сомс. – Я только знаю, что нам надо прекратить страхование этих иностранных контрактов.

– А почему не ограничить его странами, которые тоже борются на ринге? Вместо «равновесия сил» – «держаться на ринге»! Право же, это гениальная мысль!

Сомс, обвиненный в гениальности, поспешно перебил:

– Я вас тут покину – иду к дочери!

– А-а! Я иду к сыну. Посмотрите на этих несчастных!

По набережной у Блэкфрайерского моста уныло плелась группа безработных с кружками для пожертвований.

– Революция в зачатке! Вот о чем, к сожалению, всегда забывают, Форсайт!

– О чем именно? – мрачно спросил Сомс.

Неужели этот тип будет трещать всю дорогу до дома Флер?

– Вымойте рабочий класс, оденьте в чистое красивое платье, научите говорить как мы с вами – и классовое сознание у него исчезнет. Все дело в ощущениях. Разве вы не предпочли бы жить в одной комнате с чистым, аккуратно одетым слесарем, чем с разбогатевшим выскочкой, который говорит с вульгарным акцентом и распространяет аромат опопанакса? Конечно, предпочли бы!

– Не пробовал, не знаю, – сказал Сомс.

– Вы прагматик! Но поверьте мне, Форсайт, если бы рабочий класс больше думал о мытье и хорошем английском выговоре вместо всякой там политической и экономической ерунды, равенство установилось бы в два счета!

– Мне не нужно равенство, – сказал Сомс, беря билет до Вестминстера.

Трескотня преследовала его, даже когда он спускался к поезду подземки.

– Эстетическое равенство, Форсайт, если бы оно у нас было, устранило бы потребность во всяком другом равенстве. Вы видели когда-нибудь нуждающегося профессора, который хотел бы стать королем?

– Нет, – сказал Сомс, разворачивая газету.

## VIII Бикет

Веселая беззаботность Майкла Монта, словно блестящая полировка, скрывала, насколько углубился его характер за два года оседлости и постоянства. Ему приходилось думать о других. И его время было занято. Зная с самого начала, что Флер только снизошла к нему, целиком принимая полуправильную поговорку: «Il y a toujours un qui baise, et l'autre qui tend la joue»<sup>6</sup>, – он проявил необычайные качества в налаживании семейных отношений, однако в своей общественной и издательской работе никак не мог установить равновесие. Человеческие отношения он всегда считал выше денежных. Все же у Дэнби и Уинтера с ним вполне ладили, и фирма даже не проявляла признаков банкротства, которое ей предсказал Сомс, когда услышал от зятя, по какому принципу тот собирается вести дело. Но и в издательском деле, как и на всех прочих жизненных путях, Майкл не находил возможным строго следовать определенным принципам. Слишком много факторов попадало в поле его деятельности – факторов из мира людей, растений, минералов.

---

<sup>6</sup> Всегда один целует, а другой подставляет щеку (*фр.*).

В тот самый вторник, днем, после долгой возни с ценностями растительного мира – с расценками бумаги и полотна, – Майкл, насторожив свои заостренные уши, слушал жалобы упаковщика, пойманного с пятью экземплярами «Медяков» в кармане пальто, положенными туда с явным намерением реализовать их в свою пользу.

Мистер Дэнби велел ему выкатываться. Он и не отрицает, что собирался продать книги, – а что бы сделал мистер Монт на его месте? За квартиру он задолжал, а жена нуждается в питании после воспаления легких, очень нуждается!

«Ах, черт! – подумал Майкл. – Да я бы стащил целый тираж, если б Флер нужно было питаться после воспаления легких!»

– Не могу же я прожить на одно жалованье при теперешних ценах! Не могу, мистер Монт, честное слово.

Майкл повернулся к нему:

– Но послушайте, Бикет, если мы вам позволим таскать книжки, все упаковщики начнут таскать. А что тогда станется с Дэнби и Уинтером? Вылетят в трубу. А если они вылетят в трубу, куда вы все вылетите? На улицу. Так лучше пусть один из вас вылетит на улицу, чем все, не так ли?

– Да, сэр, я понимаю вас, все это истинная правда. Но правдой не проживешь: всякая мелочь выбьет из колеи, когда сидишь без хлеба. Попросите мистера Дэнби еще раз испытать меня.

– Мистер Дэнби всегда говорит, что работа упаковщика требует особого доверия, потому что почти невозможно за вами углядеть.

– Да, сэр, уж я это запомню на будущее, но при нынешней безработице, да еще без рекомендаций, мне нипочем не найти другого места. А что будет с моей женой?

Для Майкла это прозвучало, как будто его спросили: «А что будет с Флер?» Он зашагал по комнате, а Бикет, еще совсем молодой парень, смотрел на него большими тоскливыми глазами. Вдруг Майкл остановился, засунув руки в карманы и приподняв плечи.

– Я его попрошу, но вряд ли он согласится: скажет, что это нечестно по отношению к другим. Вы взяли пять экземпляров, это уж чересчур, знаете ли! Верно, вы и раньше брали, правда, а?

– Эх, мистер Монт, признаюсь по совести, если это поможет: я раньше тоже стащил несколько штук, только этим и спас жену от смерти. Вы не представляете, что значит для бедного человека воспаление легких.

Майкл взъерошил волосы.

– Сколько лет вашей жене?

– Совсем еще девочка – двадцать лет.

Только двадцать – одних лет с Флер!

– Я вам скажу, что сделаю, Бикет: объясню все дело мистеру Дезерту; если он заступится за вас, может, на мистера Дэнби это подействует.

– Спасибо вам, мистер Монт, – вы настоящий джентльмен, мы все это говорим.

– А, ерунда! Но вот что, Бикет: вы ведь рассчитывали на эти пять книжек. Вот возьмите, купите жене что нужно. Только, бога ради, не говорите мистеру Дэнби.

– Мистер Монт, да я вас ни за что на свете не выдам – ни слова не пророню, сэр. А моя жена... да она...

Всхлип, шарканье – и Майкл, оставшись один, еще глубже засунул руки в карманы, еще выше поднял плечи... и вдруг рассмеялся. Жалость! Жалость – чушь! Все вышло адски глупо! Он только что заплатил Бикету за кражу «Медяков». Ему вдруг захотелось пойти за маленьким упаковщиком, посмотреть, что он сделает с этими двумя фунтами, – посмотреть, правда ли воспаление легких существует, или этот бедняк с тоскливыми глазами все выдумал! Невозможно проверить, увы! Вместо этого надо позвонить Уилфриду и попросить замолвить слово

перед старым Дэнби. Его собственное слово уже потеряло всякий вес. Слишком часто он заступался. Бикет! Ничего ни о ком не знаешь! Темная штука жизнь, все перевернуто. Что такое честность? Жизнь нажимает – человек сопротивляется, и если побеждает сопротивление, это и зовется честностью. А к чему сопротивляться? Люби ближнего как самого себя – но не больше! И разве не во сто раз труднее Бикету при двух фунтах в неделю любить его, чем ему, при двадцати четырех фунтах в неделю, любить Бикета?

– Алло... Ты, Уилфрид?.. Говорит Майкл... Слушай, один из наших упаковщиков таскал «Медяки». Его выставили, беднягу. Я и подумал: не заступишься ли ты за него? Старый Дэн меня и слушать не станет... Да, у него жена ровесница Флер... говорит – воспаление легких. Больше таскать не станет – твои-то наверняка! Страховка благодарностью – а?.. Спасибо, старина, очень тебе благодарен. Так ты заглянешь сейчас? Домой можем пойти вместе... Ага! Ну ладно, во всяком случае, ты сейчас заглянешь! Пока!

Хороший малый этот Уилфрид! Действительно, чудесный малый, несмотря на... что?

Майкл положил трубку, и вдруг ему вспомнились облака дыма, и газы, и грохот – все то, о чем его издательство принципиально отказывалось что-либо печатать, так что он привык немедленно отклонять всякую рукопись на эту тему. Война, может быть, и кончилась, но в нем и в Уилфриде она все еще жила.

Он взял трубку.

– Мистер Дэнби у себя? Ладно! При первой попытке к бегству дайте мне знать...

Между Майклом и его старшим компаньоном лежала пропасть не менее глубокая, чем между двумя поколениями, хотя отчасти ее заполнял мистер Уинтер – добродушный и покладистый человек средних лет.

Майкл, собственно, ничего не имел против мистера Дэнби – разве только то, что он был всегда прав, этот Филип Норман Дэнби из Скай-хауса на Кэмден-Хилл. Это был человек лет шестидесяти, отец семейства, высоколобый, с грузным туловищем на коротких ногах, с выражением лица непоколебимым и задумчивым. Его глаза были, пожалуй, слишком близко поставлены, нос – слишком тонок, но все же в своем большом кабинете он выглядел весьма внушительно. Дэнби отвел глаза от пробного оттиска объявлений, когда вошел Уилфрид Дезерт.

– А, мистер Дезерт! Чем могу служить? Садитесь!

Дезерт не сел, посмотрел на рисунки, на свои пальцы, на мистера Дэнби и проговорил:

– Дело в том, что я прошу вас простить этого упаковщика, мистер Дэнби.

– Упаковщика? Ах да! Бикета! Это вам, наверно, сказал Монт?

– Да. У него молоденькая жена больна воспалением легких.

– Все они приходят к нашему милому Монту со всякими рассказками, мистер Дезерт: он очень мягкосердечен, – но к сожалению, я не могу держать этого упаковщика. Это совершенно безобразная история. Мы давно стараемся выследить причину наших пропаж.

Дезерт прислонился к камину и, уставившись на огонь, заметил:

– Вот, мистер Дэнби, ваше поколение любит мягкость в литературе, но в жизни вы очень жестоки. Наше не выносит никакого сентиментальничанья, но мы во сто раз менее жестоки в жизни.

– Я не считаю это жестокостью, – возразил мистер Дэнби. – Всего лишь справедливость.

– А вы знаете, что значит справедливость?

– Надеюсь, да.

– Попробуйте четыре года посидеть в аду – тогда и говорите!

– Я, право, не вижу никакой связи. То, что вы испытали, мистер Дезерт, конечно, очень тяжело.

Уилфрид повернулся и посмотрел на него в упор:

– Простите, что я так говорю, но сидеть тут и проявлять справедливость – еще тяжелее. Жизнь – настоящее чистилище для всех, кроме тридцати процентов взрослых людей.

Мистер Дэнби улыбнулся:

– Мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. Вы это прекрасно знаете.

– Ничего я прекрасно не знаю, мистер Дэнби, и не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно.

– Ну, давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло каким-то образом существовать.

Дезерт тоже улыбнулся:

– А, к черту правила! Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я!

Никаких признаков борьбы на лице мистера Дэнби не отразилось, но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели.

– Я был бы очень рад, но тут дело... гм-м... ну, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю, вот и все.

Дезерт пожал плечами:

– Что ж, прощайте! – и вышел.

У дверей Майкл изнывал от неизвестности.

– Ну как?

– Ничего не вышло. Старый хрыч чересчур справедлив.

Майкл взъерошил волосы.

– Подожди в моей комнате пять минут, пока я скажу этому бедняге, а потом пойду с тобой.

– Нет, – сказал Дезерт, – мне в другую сторону.

Не то, что Дезерт шел в другую сторону – это часто с ним бывало, – нет, что-то в звуке его голоса, выражении лица не давало Майклу покоя, пока он спускался вниз, к Бикету. Уилфрид был страшный чудак – вдруг совершенно неожиданно замыкался в себе.

Спустившись в «преисподнюю», Майкл спросил:

– Бикет ушел?

– Нет, сэр, вот он.

Действительно, вот он – его потертое пальто, бледное, изможденное лицо с несоразмерно большими глазами, узкие плечи.

– Очень жаль, Бикет мистер Дезерт был там, но ничего не вышло.

– Не вышло, сэр?

– Держитесь молодцом, где-нибудь устройтесь.

– Боюсь, что нет, сэр. Ну спасибо вам большое, и мистера Дезерта поблагодарите. Спокойной ночи, сэр, счастливо оставаться!

Майкл посмотрел ему вслед – он прошел по коридору и исчез в уличной мгле.

– Весело! – сказал Майкл и рассмеялся...

Естественные подозрения Майкла и его старшего компаньона, что Бикет сочиняет, были безосновательны: и про жену, и про воспаление легких он сказал правду. И, шагая по направлению к Блэкфрайерскому мосту, он думал не о своей подлости и не о справедливости мистера Дэнби, а о том, что же он скажет жене. Конечно, он ей не признается, что его уличили в краже; придется сказать, что его выгнали за то, что нагрубил заведующему; но что она теперь о нем подумает, когда все зависит именно от того, чтобы не грубить заведующему? Странная вещь – его чувство к ней: изо дня в день он приходил на работу в таком состоянии, словно половина его нутра оставалась в комнате, где лежала жена, а когда наконец доктор сказал ему: «Теперь она поправится, но она сильно истощена, надо ее подкормить», – страх за нее привел его к твердому решению. В следующие три недели он спер восемнадцать экземпляров «Медяков»,

включая и те пять, которые нашли в его кармане. Он таскал книгу мистера Дезерта только потому, что она здорово шла, и теперь жалел, что не схватил еще чью-нибудь книжку. Мистер Дезерт оказался очень порядочным человеком. Бикет остановился на углу Стрэнда и пересчитал деньги. Вместе с двумя фунтами, полученными от Майкла, и жалованьем у него было всегонавсего семьдесят пять шиллингов.

Зайдя в магазин, он купил мясной студень и банку сгущенного супа, который можно было развести кипятком. С набитыми карманами он сел в автобус и сошел на углу маленькой улочки на южном берегу Темзы. Они с женой занимали две комнатки в нижнем этаже за восемь шиллингов в неделю, и он задолжал уже за три недели. «Лучше уплатить: хоть крыша над головой будет, пока жена не поправится». Ему легче будет сообщить ей о потере работы, показав квитанцию и вкусную еду. Какое счастье, что они поостереглись заводить ребенка!

Он спустился в подвал. Хозяйка стирала белье, но остановилась в искреннем изумлении перед такой полной и добровольной расплатой и справилась о здоровье жены.

– Поправляется, спасибо.

– Ну, я рада за вас! Наверно, у вас на душе полегчало.

– Еще бы! – сказал Бикет.

Хозяйка подумала: «Худ как щепка, похож на невареную креветку, а глазищи-то какие!»

– Вот квитанция, очень вам благодарна. Простите, что я вас беспокоила, но времена нынче тяжелые.

– Это верно, – сказал Бикет, – всего хорошего!

Держа квитанцию и студень в левой руке, он открыл свою дверь.

Его жена сидела перед чуть тлеющим огнем. Подстриженные черные волосы, выющиеся на концах, отросли за время болезни. Она потрянула головой, обернувшись к нему, и улыбнулась. Бикету – и не впервые – эта улыбка показалась странной, ужасно трогательной, загадочной – словно жена понимает то, чего ему не понять.

– Ну, Вик, студень я принес знатный и за квартиру заплатил.

Он сел на валик кресла, и она положила пальцы ему на колено – тонкая синевато-бледная ручка выглядывала из рукава темного халатика.

– Ну как, Тони?

Лицо худое, бледное, с огромными темными глазами и красивым изгибом бровей, казалось, смотрит на тебя словно издалека, а как взглянет – так и защемит сердце. Вот и теперь у него защемило сердце, и он сказал:

– А как ты себя чувствуешь сегодня?

– Хорошо, много легче. Теперь я скоро выйду.

Бикет наклонился и припал к ее губам. Поцелуй длился долго – все чувства, которые он не умел выразить в течение последних трех недель, вылились в этом поцелуе. Он снова выпрямился, словно оглушенный, уставился на огонь и сказал:

– Новости невеселые: я остался без места, Вик.

– О, Тони! Почему же?

Бикет глотнул воздуха.

– Да, видишь, дела идут неважно, и штаты сокращаются.

Он совершенно определенно решил, что лучше подставит голову под газ, чем расскажет ей правду.

– О господи! Что же мы будем делать?

Голос Бикета стал тверже:

– Ты не тревожься – я уж устроюсь! – И он даже засвистал.

– Но ведь тебе так нравилась эта работа!

– Разве? Просто мне нравился кое-кто из ребят, но сама работа – что же в ней хорошего? Целый день без конца заворачивать книжки в подвале. Ну, давай поедим и пораньше ляжем спать: мне кажется, что теперь, на свободе, я мог бы проспять целую неделю подряд.

Пока готовил с ее помощью ужин, он старался не смотреть ей в глаза – из страха, что у него опять защемит сердце. Они были женаты всего год, познакомились в трамвае, и Бикет часто удивлялся, что привязало ее к нему: он был на восемь лет старше, в армию не взят по состоянию здоровья. И все-таки она, наверно, любит его – иначе не стала бы смотреть на него такими глазами.

– Сядь и попробуй студня.

Сам он ел хлеб с маргарином и пил какао – у него вообще был неважный аппетит.

– Сказать тебе, чего бы мне хотелось? – проговорил он. – Мне бы хотелось уехать в центральную Австралию! Там у нас была про это книжка. Говорят, туда большая тяга. Хорошо бы на солнышко! Я уверен, что, попади мы на солнышко, мы с тобой стали бы вдвое толще, чем сейчас. Хотелось бы увидеть румянец на твоих щечках, Вик!

– А сколько стоит туда проехать?

– Много больше, чем мы с тобой можем достать, в том-то и беда. Но я все думаю. С Англией пора покончить. Тут слишком много таких, как я.

– Нет, – сказала Викторина, – таких, как ты, мало!

Бикет взглянул на нее и быстро опустил глаза в тарелку.

– За что ты полюбила меня?

– За то, что ты не думаешь в первую очередь о себе, вот за что.

– Думал сперва, пока с тобой не познакомился, но для тебя, Вик, я на все пойду!

– Ну, тогда съешь кусочек студня, он страшно вкусный.

Бикет покачал головой.

– Если б можно было проснуться в центральной Австралии! Но верно одно – мы проснемся опять в этой паршивой комнатенке. Ну, не беда, достану работу и заработаю!

– А мы не могли бы выиграть на скачках?

– Да ведь у меня ровным счетом сорок семь шиллингов, и если мы их проиграем, что с тобой будет? А тебе надо хорошо питаться, сама знаешь. Нет, я должен найти работу.

– Наверно, тебе дадут хорошую рекомендацию, правда?

Бикет встал и отодвинул тарелку и чашку.

– Они бы дали, но такой работы не найти – всюду переполнено.

Сказать ей правду? Ни за что на свете!

В кровати, слишком широкой для одного и слишком узкой для двоих, он лежал с нею рядом, так что ее волосы почти касались его губ, и думал, что сказать в союзе и как получить работу. И мысленно, пока тянулись часы, он сжигал свои корабли. Чтобы получить пособие по безработице, ему придется рассказать в своем профсоюзе, что случилось. К черту союз! Не станет он перед ними отчитываться! Он-то знает, почему стащил эти книги, но никому больше дела нет, никто не поймет его переживаний, когда он видел, как она лежала обессиленная, бледная, исхудавшая. Надо самому пробиваться! А ведь безработных полтора миллиона! Ладно, у него хватит денег на две недели, а там что-нибудь подвернется: может, он рискнет монеткой-другой – и выиграет, почем знать! Вик зашевелилась во сне. «Да, – подумал он, – я бы опять это сделал...»

На следующий день, пробежав много часов, он стоял под серым облачным небом, на серой улице, перед зеркальной витриной, за которой лежали груды фруктов, снопы колосьев, самородки золота и сверкающие синие бабочки под искусственным золотым солнцем австралийской рекламы. Бикету, никогда не выезжавшему из Англии и даже редко из Лондона, казалось, что он стоит в преддверии рая. В конторе атмосфера была не такая уж лучезарная, и деньги

на проезд требовались значительные, но рай стал ближе, когда ему дали проспекты, которые почти что жгли ему руки – до того казались горячими.

Усевшись в одно кресло – иногда лучше быть худым! – они вместе просматривали эти заколдованные страницы и впивали их жар.

– По-твоему, это все правда, Тони?

– Если тут хоть на тридцать процентов правды – с меня хватит. Нам непременно надо туда попасть, во что бы то ни стало! Поцелуй меня!

И под уличный грохот трамваев и фургонов, под дребезжание оконной рамы на сухом, пронизывающем восточном ветру они укрылись в свой спасительный, освещенный газом рай.

## IX Смятение

Часа через два после ухода Бикета Майкл медленно шел домой. Старик Дэнби прав, как всегда: если нельзя доверять упаковщикам – лучше закрыть лавочку. Не видя страдальческих глаз Бикета, Майкл сомневался. А может быть, у этого парня никакой жены и нет? Затем поведение Уилфрида вытеснило мысль о правдивости Бикета. Уилфрид так отрывисто, так странно говорил с ним последние три раза. Быть может, он поглощен стихами?

Майкл застал Тинг-а-Линга в холле у лестницы, где он упрямо ждал, не двигаясь. «Не пойду сам, – как будто говорил он, – пока кто-нибудь меня не отнесет. Пора бы, уже поздно!»

– А где твоя хозяйка, геральдическое существо?

Тинг-а-Линг фыркнул, словно намекая: «Я бы, пожалуй, согласился, чтобы вы понесли меня: эти ступеньки так утомительны!»

Майкл взял его на руки.

– Пойдем поищем ее.

Прижатый твердой рукой, непохожей на ручку его хозяйки, Тинг смотрел на него черными стекляшками-глазами, и султан его пушистого хвоста колыхался.

В спальне Майкл так рассеянно бросил его на пол, что он отошел, повесив хвост, и возмущенно улегся в своем углу.

Скоро пора обедать, а Флер нет дома. Майкл стал бегло перебирать в уме все ее планы. Сегодня у нее завтракали Губерт Марсленд и этот вертижинист – как его там? После них, конечно, надо проветриться: от вертижинистов в легких, безусловно, образуется углекислота. И все-таки! Половина восьмого! Что им надо было делать сегодня? Идти на премьеру Л. С. Д.? Нет, это завтра. Или на сегодня ничего не было? Тогда, конечно, она постаралась сократить свое пребывание дома. Он смиренно подумал об этом. Майкл не обольщался, поскольку знал, что ничем не выделяется, разве только своей веселостью и, конечно, своей любовью к ней. Он даже признавал, что его чувство – слабость, что оно толкает его на докучливую заботливость, которую он сознательно сдерживал. Например, спросить у Кокера или Филис – лакея или горничной, – когда Флер вышла, в корне противоречило бы его принципу. В мире делалось такое, что Майкл всегда думал, стоит ли обращать внимание на свои личные дела; а с другой стороны, в мире такое делалось, что казалось, будто единственное, на что стоит обращать внимание, это свои личные дела. А его личные дела, в сущности, были – Флер, и он боялся, что, если станет слишком обращать на них внимание, это ее будет раздражать.

Он прошел к себе и стал было расстегивать жилет, но подумал: «Впрочем, нет. Если она застанет меня уже одетым к обеду, это будет слишком подчеркнуто». И он снова застегнул жилет и сошел вниз. В холле стоял Кокер.

– Мистер Форсайт и сэр Лоренс заходили часов в шесть, сэр. Миссис Монт не было дома. Когда прикажете подать обед?

– Ну, около четверти девятого. Мы как будто никуда не идем.

Он вошел в гостиную и, пройдясь по ее китайской пустоте, раздвинул гардины. Площадь казалась холодной и темной на сквозном ветру, и он подумал: «Бикет... воспаление легких... надеюсь, она надела меховое пальто». Он вынул папироску, но снова отложил. Если она увидит его у окна, то подумает, что волнуется. Он снова пошел наверх – посмотреть, надела ли она шубку.

Тинг-а-Линг, все еще лежавший в своем углу, приветствовал его веселым вилянием хвоста и сразу разочарованно остановился. Майкл открыл шкаф. Надела! Прекрасно! Он посмотрел на ее вещи и вдруг услышал, как Тинг-а-Линг протрусил мимо него и ее голос проговорил: «Здравствуй, мой миленький!» Майклу захотелось, чтобы это относилось к нему, – и он выглянул из-за гардероба.

Бог мой! До чего она была прелестна, раздурманенная ветром! Он печально стоял и молчал.

– Здравствуй, Майкл! Я очень опоздала? Была в клубе, шла домой пешком.

У Майкла явилось безотчетное чувство, что в этих словах есть какая-то недоговоренность. Он тоже умолчал о своем и сказал:

– Я как раз смотрел, надела ли ты шубку: зверски холодно. Твой отец и Барт заходили и ушли голодные.

Флер сбросила шубку и опустилась в кресло.

– Устала! У тебя так мило торчат сегодня уши, Майкл.

Майкл опустился на колени и обвил руками ее талию. Она посмотрела на него каким-то странным, пытливым взглядом; он даже почувствовал себя неловко и смущенно.

– Если бы ты схватила воспаление легких, – сказал он, – я бы, наверно, рехнулся.

– Да с чего же мне болеть!

– Ты не понимаешь связи – в общем, все равно тебе будет неинтересно. Мы ведь никуда не идем, правда?

– Нет, конечно: идем. У Элисон приемный день.

– О боже! Если ты устала, можно отставить.

– Что ты, милый! Никак! У нее будет масса народу.

подавив непочтительное замечание, он вздохнул:

– Ну ладно. Полный парад?

– Да, белый жилет. Очень люблю, когда ты в белом жилете.

Вот хитрое существо! Он сжал ее талию и встал. Флер легонько погладила его руку, и он ушел одеваться успокоенный...

Но Флер еще минут пять сидела неподвижно – не то чтобы во власти противоречивых чувств, но все же порядком растерянная. *Двое* за последний час вели себя одинаково: становились на колени и обвивали руками ее талию. Несомненно, опрометчиво было идти к Уилфриду на квартиру. Как только вошла туда, она поняла, насколько абсолютно не подготовлена к тому, чтобы физически подчиниться. Правда, он позволил себе не больше, чем Майкл сейчас. Но, боже мой! Она увидела, с каким огнем играет, поняла, какую пытку переживает он. Она строго запретила ему говорить хоть одно слово Майклу, но чувствовала, что на него нельзя положиться: настолько он метался между своим отношением к ней и к Майклу. Смущенная, испуганная, растроганная, она все-таки не могла не ощущать приятной теплоты от того, что ее так сильно любят сразу двое, не могла не испытывать любопытства: чем же это кончится? И она вздохнула. Еще одно переживание прибавилось к ее коллекции, но как увеличивать эту коллекцию, не загубив и ее и, может быть, самое владелицу, она не знала.

После слов, сказанных ею Уилфриду перед Евой: «Вы сделаете глупость, если уедете, – подождите!» – она знала, что он будет ждать чего-нибудь в ближайшее время. Часто он просил ее прийти и посмотреть его «хлам». Еще месяц, даже неделю назад она пошла бы, не колеблясь ни минутки, и потом обсуждала бы этот «хлам» с Майклом, но сейчас долго обдумывала

стоит ли пойти? И если бы не возбуждение после завтрака в обществе вертижиниста, Эмебел Нэйзинг и Линды Фру и не разговоры о том, что всякие угрызения совести – просто старомодные чувства, а всякие переживания – самое интересное в жизни, она, наверное, и по сей час бы колебалась и обдумывала. Когда все ушли, она глубоко вздохнула и вынула из китайского шкафчика телефонную трубку.

Если Уилфрид в половине шестого будет дома, она пойдет посмотреть его «хлам». Его ответ: «Правда? Бог мой, неужели?» – чуть не остановил ее. Но, отбросив сомнения, с мыслью: «Я буду парижанкой – как у Пруста!» – она пошла в свой клуб. Проведя там три четверти часа без всякого развлечения, кроме трех чашек чая, трех старых номеров «Зеркала мод» и созерцания трех членов клуба, крепко уснувших в креслах, она сумела опоздать на добрую четверть часа.

Уилфрид стоял на верхней площадке, в открытой двери, бледный, как грешник в чистилище. Он нежно взял ее за руку и повел в комнату.

Флер с легким трепетом подумала: «Так вот как это бывает? *Du cote de chez Swann*». Высвободив руку, она тут же стала разглядывать «хлам», порхая от вещи к вещи.

Старинные английские вещи, очень барские; две-три восточные редкости или образчики раннего ампира, собранные кем-нибудь из прежних Дезертов, любивших бродяжить или связанных с французским двором. Она боялась сесть из страха, что он начнет вести себя как в книгах; еще меньше она хотела возобновлять напряженный разговор, как в галерее Тейт. Разглядывать «хлам» – безопасное занятие, и она смотрела на Уилфрида только в те короткие промежутки, когда он не смотрел на нее. Она знала, что ведет себя не так, как «*La garconne*» или Эмебел Нэйзинг, что ей даже угрожает опасность уйти, ничего не прибавив к своим «переживаниям». И она не могла удержаться от жалости к Уилфриду: его глаза тосковали по ней, на его губы больно было смотреть. Когда, совершенно устав от осмотра «хлама», она села, он бросился к ее ногам. Полузагипнотизированная, касаясь коленями его груди, ощущая себя в относительной безопасности, она по-настоящему поняла весь трагизм положения – его ужас перед самим собою, его страсть к ней. Это была мучительная, глубокая страсть; она не соответствовала ее ожиданиям, она была несовременна! И как, как же ей уйти, не причинив больше боли ни ему, ни себе? Когда она наконец ушла, не ответив на его единственный поцелуй, то поняла, что прожила четверть часа настоящей жизнью, но не была вполне уверена, понравилось ли ей это... А теперь, в безопасности своей спальни, переодеваясь к вечеру у Элисон, она испытывала любопытство при мысли, что бы она чувствовала, если бы события зашли так далеко, как это полагалось, по утверждению авторитетов. Конечно, она не испытала и десятой доли тех ощущений или мыслей, какие ей приписали бы в любом новом романе. Это было разочарование – или она для этого не годилась, – а Флер терпеть не могла чувствовать себя несовершенной. И, слегка пудря плечи, она стала думать о вечере у Элисон.

Хотя леди Элисон и любила встречаться с молодым поколением, но люди типа Обри Грина или Линды Фру редко бывали на ее вечерах. Правда, Неста Горз раз попала к Элисон, но один юрист и два литератора-политика, которые с ней там познакомились, впоследствии на нее жаловались. Выяснилось, что она исколола мелкими злыми дырочками одежды их самоуважения. Сибли Суон был бы желанным гостем благодаря своей дружбе с прошлым, но пока только задирал нос и смотрел на все свысока. Когда Флер и Майкл вошли, все были уже в сборе – не то что интеллигенция, а просто интеллектуальное общество, чьи беседы обладали всем блеском и всем *savoir faire*<sup>7</sup>, с каким обычно говорят о литературе и искусстве те, которым, как говорил Майкл, «к счастью, нечего *faire*».

<sup>7</sup> Умение; букв. «умение делать» (фр.).

– И все-таки эти типы создают известность художникам и писателям. Какой сегодня гвоздь вечера? – спросил он на ухо у Флер.

Гвоздем, как оказалось, было первое выступление в Лондоне певицы, исполнявшей балканские народные песни. Но в сторонке справа стояли четыре карточных столика для бриджа. За ними уже составились партии. Среди тех, кто еще слушал пение, были и Гордон Минхо, и светский художник с женой, и скульптор, ищущий заказов. Флер, затертая между леди Фэйн – женой художника, и самим Гордоном Минхо, изыскивала способ удрать. Там... да, там стоял мистер Челфонт! В гостях у леди Элисон Флер, прекрасно разбиравшаяся в людях, никогда не тратила времени на художников и писателей: их она могла встретить где угодно. Здесь же она интуитивно выбирала самого большого политико-литературного «жука» и ждала случая наколоть его на булавку. И, поглощенная мыслью, как поймать Челфонта, она не заметила происходившей на лестнице драматической сцены.

Майкл остался на площадке лестницы – не в настроении болтать и острить, прислонившись к балюстраде, тонкий, как оса, в своем длинном белом жилете, глубоко засунув руки в карманы, он следил за изгибами и поворотами белой шеи Флер и слушал балканские песни с полнейшим безразличием. Оклик «Монт!» заставил его встрепенуться. Внизу стоял Уилфрид. Монт? Два года Уилфрид не называл его Монтом!

– Сойди сюда!

На средней площадке стоял бюст Лайонела Черрела – королевского адвоката, работы Бориса Струмоловского, в том жанре, который цинически избрал художник с тех пор, как Джун Форсайт отказалась поддерживать его самобытный, но непризнанный талант. Бюст был почти неотличим от любого бюста на академической выставке этого года, и юные Черрелы любили пририсовывать ему углем усы.

За этим бюстом стоял Дезерт, прислонившись к стене, закрыв глаза. Его лицо поразило Майкла.

– Что случилось, Уилфрид?

Дезерт не шевелился.

– Ты должен знать – я люблю Флер!

– Что?

– Я не желаю быть предателем. Ты – мой соперник. Жаль, но это так. Можешь меня изругать...

Его лицо было мертвенно-бледно, и мускулы подрагивали. У Майкла дрогнуло сердце. Какая дикая, какая странная, нелепая история! Его лучший друг, его шафер! Машинально он полез за портсигаром, машинально протянул его Дезерту. Машинально оба взяли папиросы и дали друг другу закурить. Потом Майкл спросил:

– Флер знает?

Дезерт кивнул.

– Она не знает, что я тебе сказал, она бы мне не позволила. Тебе ее не в чем упрекнуть... пока. – И, все еще не открывая глаз, он добавил: – Я ничего не мог поделать.

Та же мысль подсознательно мелькнула у Майкла. Естественно! Вполне естественно! Глупо не понимать, насколько это естественно! И вдруг как будто что-то в нем оборвалось, и он сказал:

– Очень честно с твоей стороны предупредить меня, но не собираешься ли ты удалиться?

Плечи Дезерта крепче прижались к стене.

– Я сам так думал сначала, но, кажется, не уйду.

– Кажется? Я не понимаю.

– Если бы я наверно знал, что мне не на что надеяться... но я не уверен. – И внезапно он взглянул на Майкла: – Слушай, нечего притворяться. Я пойду на все, и я отниму ее у тебя, если смогу!

– Господи боже! – сказал Майкл. – Дальше уж ехать некуда!

– Да! Можешь попрекать меня! Но вот что я тебе скажу: как я подумаю, что ты идешь с ней домой, а я... – Он рассмеялся отрывистым, неприятным смехом. – Нет, знаешь, лучше ты меня не трогай.

– Что ж, – сказал Майкл, – раз мы не в романе Достоевского, то, я полагаю, больше говорить не о чем.

Дезерт отошел от стены и положил руку на бюст Лайонеля Черрела.

– Ты пойми хотя бы, что я себе напортил – может, угробил себя тем, что сказал тебе. Я не начал бомбардировки без объявления войны.

– Нет, – глухо отозвался Майкл.

– Можешь мои книжки сбыть другому издательству.

Майкл пожал плечами.

– Ну, спокойной ночи, – сказал Дезерт. – И прости за примитивность.

Майкл прямо посмотрел в лицо своему другу. Нет, это не ошибка: горькое отчаяние было в этих глазах. Майкл протянул было руку, нерешительно позвал: Уилфрид!..

Но тот уже сходил вниз, и Майкл поднялся вверх.

Вернувшись на свое место у балюстрады, он попытался уверить себя, что жизнь – смешная штука, и не смог. В его положении нужна была хитрость змеи, отвага льва, кротость голубя; он не ощущал в себе этих стандартных добродетелей. Если бы Флер любила его так, как он любит ее, он по-настоящему пожалел бы Уилфрида. Ведь так естественно полюбить Флер! Но она не любит его так – о нет! У Майкла было одно достоинство, если считать это достоинством: он не переоценивал себя и всегда высоко ценил своих друзей. Он высоко ценил Дезерта и, как это ни странно, даже сейчас не думал о нем плохо. Вот его друг собирается нанести ему смертельную обиду, отнять у него любовь, нет, честнее сказать – просто привязанность его жены, и все же Майкл не считает его негодяем. Такая терпимость – он это знал – безнадежная штука, но понятия о свободе воли, о свободном выборе для него были не только литературными понятиями, нет, они были заложены в его характере. Применить насилие, как бы желательно это ни казалось, значило бы идти против самого себя. И что-то похожее на отчаяние проникло в его сердце, когда он смотрел на нехитрые заигрывания Флер с великим Джералдом Челфонтон. Что, если она бросит его ради Уилфрида? Нет. Конечно, нет! Ее отец, ее дом, ее собака, ее друзья, ее... ее «коллекция» всяких... – нет, ведь она не откажется, не сможет расстаться со всем этим. Но что, если она захочет сохранить все, включая и Уилфрида? Нет, нет! Никогда! Только на секунду такое подозрение осквернило прирожденную честность Майкла.

Но что же делать? Сказать ей? Выяснить все? Или ждать и наблюдать? Зачем? Ведь это значило бы шпионить, а не наблюдать. Ведь Дезерт больше к ним в дом не придет. Нет! Или полная откровенность – или полное невмешательство. Но это значит – жить под дамокловым мечом. Нет! Полная откровенность! И не ставить никаких ловушек. Он провел рукой по мокрому лбу. Если бы только они были дома, подальше от этого визга, от этих лощенных кривляк. Как бы выгащить Флер? Без предлога – невозможно! А единственный предлог – что у него голова идет кругом. Нет, надо сдержаться! Пение кончилось. Флер оглянулась. Сейчас подзовет его! Нет, она сама шла к нему. Майкл не мог удержаться от иронической мысли: «Подцепила старого Челфонта!» Он любил ее, но знал ее маленькие слабости. Она подошла и взяла его под руку.

– Мне надоело, Майкл, давай удерем, хорошо?

– Живо! Пока нас не поймали!

На холодном ветру он подумал: «Сейчас – или у нее в комнате?»

– По-моему, – проговорила Флер, – мистера Челфонта переоценивают – он просто какой-то сплошной зевок. На той неделе он у нас завтракает.

Нет, не сейчас, у нее в комнате!

– Как ты думаешь, кого бы пригласить для него, кроме Элисон?

– Не надо никого чересчур крикливого.

– Конечно, нет, но надо кого-нибудь позанятнее. Ах, Майкл, знаешь, иногда мне кажется, что не стоит и стараться.

У Майкла замерло сердце. Не было ли это зловещим признаком – признаком того, что «примитивное» начинает проступать и в ней, всегда так увлеченной светской жизнью?

Час назад он бы сказал: «Ты права, дорогая; вот уж действительно не стоит». Но сейчас каждый признак перемены казался зловещим! Он взял Флер под руку.

– Не беспокойся, уж мы как-нибудь изловим самых подходящих птиц.

– Пригласить бы китайского посланника – вот было бы превосходно! – проговорила Флер задумчиво. – Минхо, Барт – четверо мужчин, две дамы – уютно! Я поговорю с Бартом!

Майкл уже открыл входную дверь. Он пропустил Флер и остановился посмотреть на звезды, на платаны, на неподвижную мужскую фигуру – воротник поднят до самых глаз, и шляпа нахлобучена до бровей. «Уилфрид, – подумал он. – Испания! Почему Испания? И все несчастные, все отчаявшиеся... чье сердце... Эх! К черту сердце!» И он захлопнул дверь.

Но вскоре ему пришлось открыть другую дверь – и никогда он ее не открывал с меньшим энтузиазмом! Флер сидела на ручке кресла в светло-лиловой пижаме, которую она надевала иногда, чтобы не отставать от моды, и смотрела в огонь. Майкл остановился, глядя на нее и на свое собственное отражение в одном из пяти зеркал, – белое с черным, как костюм Пьеро, пижама, которую она ему купила. «Марионетки в пьесе, – подумал он. – Марионетки в пьесе! Разве это настоящее?» Он подошел и сел на другую ручку кресла.

– О черт! – пробормотал он. – Хотел бы я быть Антиноем! – И он соскользнул с ручки кресла на сиденье, чтобы она смогла, если захочет, спрятать от него лицо.

– Уилфрид все мне рассказал, – произнес он спокойно.

Сказано! Что дальше? Он увидел, как кровь заливает ее шею и щеку.

– О-о! Чего ради... что значит «рассказал»?

– Рассказал, что влюблен в тебя, больше ничего – ведь больше и нечего рассказывать, правда? – И, подтянув ноги в кресло, он плотно обхватил колени обеими руками.

Один вопрос уже вырвался! Держись! Держись! И он закрыл глаза.

– Конечно, – очень медленно проговорила Флер. – Ничего больше и нет. Если Уилфриду угодно быть таким глупым...

«Если угодно!» Какими несправедливыми показались эти слова Майклу: ведь его собственная «глупость» была такой продолжительной, такой прочной! И – странно! – его сердце даже не дрогнуло! А ведь он должен был обрадоваться ее словам!

– Значит, с Уилфридом покончено?

– Покончено? Не знаю.

Да и что можно знать, когда речь идет о страсти?

– Так, – сказал он, делая над собой усилие, – ты только не забывай, что я люблю тебя ужасно!

Он видел, как задрожали ее ресницы, как она пожала плечами.

– А разве я забываю?

Горечь, ласка, простая дружба – как понять?

Вдруг она потянулась к нему и схватила за уши.

Крепко держа его голову, она посмотрела на него и засмеялась. И все-таки его сердце не дрогнуло. Если только она не водит его за нос... Но он притянул ее к себе в кресло. Лиловое, черное и белое смешалось – она ответила на его поцелуй. Но от всего ли сердца? Кто мог знать? Только не Майкл!

## X Конец спортсмена

Не застав дочери дома, Сомс сказал: «Я подожду», – и уселся на зеленый диван, не замечая Тинг-а-Линга, отсыпавшегося перед камином от проявлений внимания со стороны Эмебел Нэйзинг, – она нашла, что он «чудо до чего забавный!». Седой и степенный, Сомс сидел, с глубокой складкой на лбу, положив ногу на ногу, и думал об Элдерсоне и о том, куда идет мир и как вечно что-нибудь случается. И чем больше он думал, тем меньше понимал, как угораздило его войти в правление общества, которое имело дело с иностранными контрактами. Вся старинная мудрость, укрепившая в девятнадцатом веке богатство Англии, вся форсайтская философия, утверждавшая, что не надо вмешиваться в чужие дела и рисковать, весь закоренелый национальный индивидуализм, который не мог позволить стране гоняться то за одной синей птицей, то за другой, – все это поднимало молчаливый протест в его душе. Англия идет по неверному политическому пути, пытаясь оказать влияние на континентальную политику, и ОГС идет по неверному финансовому пути, взяв на себя страховку иностранных контрактов. Особый родовой инстинкт тянул Сомса назад, на его собственную, прямую дорогу. Никогда не впутываться в дела, которые не можешь проверить! Старый Монт говорил: «Держаться на ринге». Ничего подобного! Не вмешивайся не в свое дело – вот правильная «формула». Он почувствовал что-то около ноги: Тинг-а-Линг обнюхивал его брюки.

– А, – сказал Сомс, – это ты!

Поставив передние лапы на диван, Тинг-а-Линг облизнулся.

– Подсадить тебя? – сказал Сомс. – Уж очень ты длинный! – И снова он почувствовал какое-то еле уловимое тепло от сознания, что собака его любит.

«Что-то во мне есть, что ему нравится», – подумал он и, взяв Тинг-а-Линга за ошейник, втащил его на подушку. «Ты и я – нас двое таких», – как будто говорила собачонка пристальным своим взглядом. Китайская штучка! Китайцы знают, чего им надо; они уже пять тысяч лет как не вмешиваются в чужие дела!

«Подам в отставку», – подумал Сомс. Но как быть с Уинифрид, с Имоджин, с сыновьями Роджера и Николаса, которые вложили деньги в это дело, потому что он был там директором? И что они ходят за ним, как стадо баранов! Он встал. Не стоит ждать – лучше пойти на Грин-стрит и теперь же поговорить с Уинифрид. Ей придется опять продавать акции, хотя они слегка упали. И, не прощаясь с Тинг-а-Лингом, он ушел.

Весь этот год жизнь почти доставляла ему удовольствие. То, что он мог хоть раз в неделю куда-то прийти, посидеть, встретить какую-то симпатию, как в прежние годы в доме Тимоти, – все это удивительно поднимало ему настроение. Уйдя из дому, Флер унесла с собой его сердце, но Сомс, пожалуй, предпочитал навещать свое сердце раз в неделю, чем носить его всегда с собой. И еще по другим причинам жизнь стала легче. Этот мефистофельского вида иностранец Проспер Профон давно уехал неизвестно куда, и с тех пор жена стала гораздо спокойнее и ее сарказм значительно слабее. Она занималась какой-то штукой, которая называлась «система Куэ», и пополнела. Она постоянно пользовалась автомобилем. Вообще привыкла к дому, поутихла. Кроме того, Сомс примирился с Гогеном – некоторое понижение спроса на этого художника убедило его в том, что Гоген стоил внимания, и он купил еще три картины. Гоген снова пойдет в гору. Сомс даже немного жалел об этом, потому что успел полюбить этого художника. Если привыкнуть к его краскам – они начинают даже нравиться. Одна картина – в сущности, без всякого содержания – как-то особенно привлекала глаз. Сомсу становилось даже неприятно, когда он думал, что с картиной придется расстаться, если цена очень поднимется. Но и помимо всего этого Сомс чувствовал себя вполне хорошо: переживал рецидив молодости по отношению к Аннет, получал больше удовольствия от еды и совершенно спокойно думал о

денежных делах. Фунт подымался в цене, рабочие успокоились, и теперь, когда страна избавилась от этого фигляра, можно было надеяться на несколько лет прочного правления консерваторов. И только подумать, размышлял он, проходя через Сент-Джеймс-парк по направлению к Грин-стрит, что он сам взял и влез в общество, которое не мог контролировать! Право, он чувствовал себя так, как будто сам черт его попутал!

На Пиккадилли он медленно пошел по стороне, примыкавшей к парку, привычно поглядывая на окна клуба «Айсиум». Гардины были спущены, и длинные полосы света пробивались мягко и приветливо. И ему вспомнилось, что кто-то говорил, будто Джордж Форсайт болен. Действительно, Сомс уже много месяцев не видел его в фонаре окна. Н-да, Джордж всегда слишком много ел и пил. Сомс перешел улицу и прошел мимо клуба; какое-то внезапное чувство: он сам не знал какое – тоска по своему прошлому, словно тоска по родине, – заставило его повернуть и подняться в подъезд.

– Мистер Джордж Форсайт в клубе?

Швейцар уставился на него. Этого длиннолицего седого человека Сомс знал еще с восьмидесятых годов.

– Мистер Форсайт, сэ, – сказал он, – опасно болен. Говорят, не поправится, сэ.

– Что? – спросил Сомс. – Никто мне не говорил.

– Он очень плох, совсем плох. Что-то с сердцем.

– С сердцем? А где он?

– У себя на квартире, сэ, тут за углом. Говорят, доктора считают, что он безнадежен. А жаль его, сэ! Сорок лет я его помню. Старого закала человек и замечательно знал толк в винах и лошадах. Никто из нас, как говорится, не вечен, но никогда я не думал, что придется его провожать. Он малость полнокровен, сэ, вот в чем дело.

Сомс с несколько неприятным чувством обнаружил, что никогда не знал, где живет Джордж, – так прочно он казался связанным с фонарем клубного окна.

– Скажите мне его адрес, – проговорил он.

– Бельвиль-роу, номер одиннадцать, сэ. Надеюсь, вы его найдете в лучшем состоянии. Мне будет очень не хватать его шуток, право!

Повернув за угол, на Бельвиль-роу, Сомс сделал быстрый подсчет. Джорджу шестьдесят шесть лет – только на год моложе его самого! Если Джордж действительно при последнем издыхании, это странно! «Все оттого, что вел неправильный образ жизни, – подумал Сомс. – Сплошное легкомыслие этот Джордж! Когда это я составлял его завещание?» Насколько он помнил, Джордж завещал свое состояние братьям и сестрам. Больше у него никого не было. Какое-то родственное чувство зашевелилось в Сомсе – инстинкт сохранения семейного благополучия. Они с Джорджем никогда не ладили: полные противоположности по темпераменту, – и все же его надо будет хоронить. А кому заботиться об этом, как не Сомсу, схоронившему уже многих Форсайтов. Он вспомнил, как Джордж когда-то прозвал его гробовщиком. Гм! Вот оно – возмездие! Бельвиль-роу. Ага, номер одиннадцать. Настоящее жилище холостяка. И, собираясь позвонить, Сомс подумал: «Женщины! Какую роль играли в жизни Джорджа женщины?»

На его звонок вышел человек в черном костюме, молчаливый и сдержанный.

– Здесь живет мой кузен, Джордж Форсайт. Как его здоровье?

Слуга сжал губы.

– Вряд ли переживет эту ночь, сэ.

Сомс почувствовал, как под его шерстяной фуфайкой что-то дрогнуло.

– В сознании?

– Да, сэ.

– Можете отнести ему мою карточку? Вероятно, он захочет меня повидать.

– Будьте добры подождать здесь, сэ.

Сомс прошел в низкую комнату с деревянной панелью почти в рост человека, над которой висели картины. Джордж – коллекционер! Сомс никогда этого за ним не знал. На стенах, куда ни взгляни, висели картины – старые и новые, изображавшие скачки и бокс. Красных обоев почти не было видно. И только Сомс приготовился рассмотреть картины с точки зрения их стоимости, как заметил, что он не один. Женщина – возраст не определишь в сумерках – сидела у камина в кресле с очень высокой спинкой, облокотившись на ручку кресла и приложив к лицу платок. Сомс посмотрел на нее и украдкой понюхал воздух. «Не нашего круга, – решил он, – держу десять против одного, что выйдут осложнения». Приглушенный голос лакея сказал:

– Вас просят зайти, сэр!

Сомс провел рукой по лицу и последовал за ним.

Спальня, куда он вошел, была странно непохожа на первую комнату. Одна стена была сплошь занята огромным шкафом с массой ящичков и полочек. И больше в комнате ничего не было, кроме туалетного стола с серебряным прибором, электрического радиатора, горевшего в камине, и кровати напротив. Над камином висела одна-единственная картина. Сомс машинально взглянул на нее. Как! Китайская картина! Большая белая обезьяна, повернувшись боком, держала в протянутой лапе кожуру выжатого апельсина. С ее мохнатой мордочки на Сомса смотрели карие, почти человеческие глаза. Какая фантазия заставила чуждого искусству Джорджа купить такую вещь да еще повесить ее против своей кровати? Сомс обернулся и поглядел на кровать. Там лежал «единственный приличный человек в этой семейке», как называл его когда-то Монтегю Дарти; его отечное тело вырисовывалось под тонким стеганым одеялом. Сомса даже передернуло, когда он увидел это знакомое багрово-румяное лицо бледным и одутловатым, как луна, с темными морщинистыми кругами под глазами, еще сохранившими свое насмешливое выражение. Голос хриплый, сдавленный, но звучащий еще по-старому, по-форсайтски, произнес:

– Здорово, Сомс! Пришел снять с меня мерку для гроба?

Сомс движением руки отклонил это предположение; ему странно было видеть такую пародию на Джорджа. Они никогда не ладили, но все-таки...

Сдержанным, спокойным голосом он сказал:

– Ну, Джордж, ты еще поправишься. Ты еще не в таком возрасте. Могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен?

Усмешка тронула бескровные губы Джорджа.

– Составь мне дополнение к завещанию. Бумага – в ящике туалетного стола.

Сомс вынул листок со штампом клуба «Айсиум». Стоя у стола, он написал своим вечным пером вводную фразу и выжидательно взглянул на Джорджа. Голос продиктовал хрипло и медленно:

– Моих трех кляч – молодому Вэлу Дарти, потому что он единственный Форсайт, который умеет отличить лошадь от осла. – Сдавленный смешок жутко отозвался в ушах Сомса. – Ну, как ты написал?

Сомс прочел:

– «Завещаю трех моих скаковых лошадей родственнику моему Валериусу Дарти из Уонсдона, Сассекс, ибо он обладает специальным знанием лошадей».

Снова этот хриплый смешок:

– Ты, Сомс, сухой педант. Продолжай: Милли Мойл – Клермонт-Гроув, дом двенадцать – завещаю двенадцать тысяч фунтов, свободных от налога на наследство.

Сомс чуть не свистнул.

Женщина в соседней комнате!

Насмешливые глаза Джорджа стали грустными и задумчивыми.

– Это огромные деньги, – не удержался Сомс.

Джордж хрипло и раздраженно проворчал:

– Пиши, не то откажу ей все состояние!

Сомс написал.

– Это все?

– Да. Прочти!

Сомс прочел и опять услышал сдавленный смех.

– Недурная пилюля! Этого вы в газетах не напечатаете. Позови лакея, ты и он можете засвидетельствовать.

Но Сомс еще не успел дойти до двери, как она открылась и лакей вошел сам.

– Тут... м-м... зашел священник, сэр, – сказал он виноватым голосом. – Он спрашивает, не угодно ли вам принять его.

Джордж повернулся к нему; его заплывшие серые глаза сердито расширились:

– Передайте ему привет и скажите, что увидимся на моих похоронах.

Лакей поклонился и вышел; наступило молчание, потом Джордж сказал:

– Теперь, зови его опять. Я не знаю, когда флаг будет спущен.

Сомс позвал лакея. Когда завещание было подписано и лакей ушел, Джордж заговорил:

– Возьми его и последи, чтобы она свое получила. Тебе можно доверять – это твое основное достоинство, Сомс.

Сомс с каким-то странным чувством положил завещание в карман.

– Может быть, хочешь ее повидать?

Джордж долго и пристально посмотрел на него.

– Нет. Какой смысл? Дай мне сигару из того ящика.

Сомс открыл ящик и засомневался:

– А тебе можно?

Джордж усмехнулся:

– Никогда в жизни не делал того, что можно, и теперь не собираюсь. Обрежь мне сигару.

Сомс остриг кончик сигары. «Спичек я ему не дам, – подумал он, – не могу взять на себя ответственность». Но Джордж и не просил спичек. Он лежал совершенно спокойно с незажженной сигарой в бледных губах, опустил распухшие веки.

– Прощай, – сказал он, – я вздремну.

– Прощай, – сказал Сомс. – Я надеюсь, что ты... ты скоро...

Джордж снова открыл глаза – этот пристальный, грустный, насмешливый взгляд как будто уничтожал притворные надежды и утешения. Сомс быстро повернулся и вышел. Он чувствовал себя скверно и почти бессознательно опять зашел в гостиную. Женщина сидела в той же позе; тот же назойливый аромат стоял в воздухе. Сомс взял зонтик, забытый там, и вышел.

– Вот мой номер телефона, – сказал он слуге, ожидавшему в коридоре. – Дайте мне знать.

Тот поклонился.

Сомс свернул с Бельвиль-роу. Всегда, расставаясь с Джорджем, он чувствовал, что над ним смеются. Не посмеялись ли над ним и в этот раз? Не было ли завещание Джорджа его последней шуткой? Может, если бы Сомс не зашел к нему, Джордж никогда бы не сделал этой приписки, не обошел бы семью, оставив треть своего состояния надушенной женщине в кресле? Сомса смущала эта загадка. Но как можно шутить у порога смерти? В этом было своего рода геройство. Где его надо хоронить?.. Кто-нибудь, наверно, знает – Фрэнси или Юстас. Но что они скажут, когда узнают об этой женщине в кресле? Ведь двенадцать тысяч фунтов! «Если смогу получить эту белую обезьяну, обязательно возьму ее, – подумал он внезапно, – хорошая вещь!» Глаза обезьяны, выжатый апельсин... может быть, и жизнь – только горькая шутка, и Джордж все понимает лучше его самого? Сомс позвонил у дверей дома на Грин-стрит.

Миссис Дарти просила извинить ее: миссис Кардиган пригласила ее обедать и составить партию в карты.

Сомс пошел в столовую один. У полированного стола, под который в былые времена иногда соскальзывал, а то и замертво сваливался Монтегю Дарти, Сомс обедал, глубоко задумавшись. «Тебе можно доверять – это твое основное достоинство, Сомс!» Эти слова были ему и лестны и обидны. Какая глубоко ироническая шутка! Так оскорбить семью – и доверить Сомсу осуществить это оскорбительное дело! Не мог же Джордж из привязанности отдать двенадцать тысяч женщине, надушенной пачули. Нет! Это была последняя издевка над семьей, над всеми Форсайтами, над ним – Сомсом! Что же! Все те, кто издевался над ним, получили по заслугам – Ирэн, Босини, старый и молодой Джолионы, а теперь вот – Джордж. Кто умер, кто умирает, кто – в Британской Колумбии! Он снова видел перед собой глаза своего кузена над незакуреной сигарой – пристальные, грустные, насмешливые. Бедняга!

Сомс встал из-за стола и рывком раздвинул портьеры. Ночь стояла ясная, холодная. Что становится с человеком после? Джордж любил говорить, что в прошлом своем существовании он был поваром у Карла II. Но перевоплощение – чепуха, идиотская теория! И все же хотелось бы как-то существовать после смерти. Существовать и быть возле Флер! Что это за шум? Граммофон завели на кухне. Когда кошки дома нет, мыши пляшут! Люди все одинаковы – берут что могут, а дают как можно меньше. Что ж, закурить папиросу? Закурив от свечи – Уинифрид обедала при свечах, они снова вошли в моду, – Сомс подумал: «Интересно, держит он еще сигару в зубах?» Чудак этот Джордж! Всю жизнь был чудачком! Он следил за кольцом дыма, которое случайно выпустил, – очень синее кольцо; он никогда не затягивался. Да! Джордж жил слишком легкомысленно, иначе не умер бы на двадцать лет раньше срока, слишком легкомысленно! Да, вот какие дела! И некому слова сказать – ни одной собаки нет.

Сомс снял с камина какого-то уродца, которого разыскал где-то на восточном базаре его племянник Бенедикт года через два после войны. У него были зеленые глаза. «Нет, не изумруды, – подумал Сомс, – какие-то дешевые камни».

– Вас к телефону, сэр.

Сомс вышел в холл и взял трубку:

– Да?

– Мистер Форсайт скончался, сэр, доктор сказал – во сне.

– О! – произнес Сомс... – А была у него сига... Ну, благодарю! – Он повесил трубку. Скончался! И нервным движением Сомс нащупал завещание во внутреннем кармане.

## XI

### Рискованное предприятие

Целую неделю Бикет гонялся за работой, ускользавшей, как угорь, мелькавшей, как ласточка, совершенно неуловимой. Фунт отдал за квартиру, три шиллинга поставил на лошадь – и остался с двадцатью четырьмя шиллингами. Погода потеплела – ветер с юго-запада, – и Викторина первый раз вышла. От этого стало немного легче, но судорожный страх перед безработицей, отчаянная погоня за средствами к существованию, щемящая, напряженная тоска глубоко вгрызались в его душу. Если через неделю-другую он не получит работы, им останется только работный дом или – газ! «Лучше газ, – думал Бикет. – Если только она согласится, то и я готов. Осточертело мне все. И в конце концов, что тут такого? Обнять ее – и ничего не страшно!» Но инстинкт подсказывал, что не так-то легко подставить голову под газ, и в понедельник вечером его вдруг осенила мысль: воздушные шары! Как у того вот парня на Оксфорд-стрит. А почему бы и нет! У него еще хватило бы денег для начала, а никакого разрешения не надо. Его мысли, словно белка в колесе, вертелись в бессонные часы вокруг того огромного неоспоримого преимущества, какое имеют воздушные шары перед всеми прочими предметами торговли. Такого продавца не пропустишь – стоит, и каждый его замечает, все видят яркие шарики, летающие над ним! Правда, насколько он разузнал, прибыль невелика –

всего пенни с большого шестипенсового шара и пенни с трех маленьких двухпенсовых шариков. И все-таки живет же тот продавец! Может, он просто приbedнялся перед ним из страха, что его профессия покажется слишком заманчивой? Стало быть, за мостом, как раз там, где такое движение. Нет, лучше у собора Святого Павла! Он приметил там проход, где можно стоять шагах в трех от тротуара – как тот парень на Оксфорд-стрит. Он ничего не скажет малютке, что спит рядом с ним, ни слова, пока не сделает эту ставку. Правда, это значит – рисковать последним шиллингом. Ведь только на прожитие ему надо продать... Ну да, три дюжины больших и четыре дюжины маленьких шаров в день дадут прибыли всего-навсего двадцать шесть шиллингов в неделю, если только тот продавец не наврал ему. Не очень-то поедешь на это в Австралию! И разве это настоящее дело? Викторина здорово огорчится. Но тут уж нечего рассуждать! Надо попробовать, а в свободные часы поискать работу.

И на следующий день в два часа наш тощий капиталист, с четырьмя дюжинами больших и семью дюжинами маленьких шаров, свернутых на лотке, с двумя шиллингами в кармане и пустым желудком, стал у собора Святого Павла. Он медленно надул и перевязал два больших и три маленьких шарика – розовый, зеленый и голубой, и они заколыхались над ним. Ощущая запах резины в носу, выпучив от напряжения глаза, он стал на углу, пропуская поток прохожих. Он радовался, что почти все оборачивались и смотрели на него. Но первый, кто с ним заговорил, был полисмен:

– Тут стоять не полагается.

Бикет не отвечал, у него пересохло в горле. Он знал, что значит полиция. Может, он не так взялся за дело? Вдруг он всхлипнул и сказал:

– Дайте попытать счастья, констебль, – дошел до крайности! Если мешаю, я стану куда прикажете. Дело для меня новое, а у меня только и есть на свете, что два шиллинга да еще жена. Констебль, здоровый дядя, оглядел его с ног до головы.

– Ну ладно, посмотрим! Я вас не трону, если никто не станет возражать.

Во взгляде Бикета была глубокая благодарность.

– Премного вам обязан, – проговорил он. – Возьмите шарик для дочки, доставьте мне удовольствие.

– Один я куплю, сделаю вам почин, – сказал полисмен. – Через час я сменяюсь с дежурства, вы приготовьте мне большой, розовый.

И он отошел, но Бикет видел, что наблюдает за ним. Отодвинувшись к самому краю тротуара, он стоял совершенно неподвижно; его большие глаза заглядывали в лицо каждому прохожему; худые пальцы то и дело перебирали товар. Если бы Викторина его видела! Все в нем взбунтовалось: ей-богу, он вырвется из этой канители, вырвется на солнце, к лучшей жизни, которую стоит назвать жизнью.

Он уже стоял почти два часа, с непривычки переступая с ноги на ногу, и продал два больших и пять маленьких шаров – шесть пенсов прибыли! – когда Сомс, изменивший дорогу назло этим людям, которые не могли проникнуть дальше Уильяма Голдинга, ингерера, прошел мимо него, направляясь на заседание ОГС. Услышав робкое бормотание: «Шарики, сэр, высший сорт!» – он обернулся, прервав созерцание собора (многолетняя привычка!), и остановился в совершенном недоумении.

– Шары? – сказал он. – А на что мне шары?

Бикет улыбнулся. Между этими зелеными, голубыми и оранжевыми шарами и серой сдержанностью Сомса было такое несоответствие, что даже он его почувствовал.

– Детишки любят их – никакого весу, сэр, карманный пакетик.

– Допускаю, – сказал Сомс, – но у меня нет детей.

– Внуки, сэр!

– И внуков нет.

– Простите, сэр.

Сомс окинул его тем быстрым взглядом, каким обычно определял социальное положение людей. «Жалкая безобидная крыса», – подумал он.

– Ну-ка дайте мне две штуки. Сколько с меня?

– Шиллинг, сэр, и очень вам благодарен.

– Сдачи не надо, – торопливо бросил Сомс и пошел дальше, сам себе удивляясь. Зачем он купил эти штуки, да еще переплатил вдвое, он и сам не понимал. Он не помнил, чтобы раньше с ним случалось нечто подобное. Удивительно странно! И вдруг он понял, в чем дело. Этот малый такой смиренный, кроткий, такого надо поддерживать в наши дни, когда так вызывающе ведут себя коммунисты. И ведь, в конце концов, этот бедняга тоже стоит... ну, на стороне капитала, тоже вложил сбережения в эти шарики! Торговля! И, снова устремив глаза на собор, Сомс сунул в карман пальто противный на ощупь пакетик. Наверно, кто-нибудь их вынет и будет удивляться: что это на него нашло? Впрочем, у него есть другие заботы!..

А Бикет смотрел ему вслед в восхищении. Двести пятьдесят процентов прибыли на двух шарах – это дело! Сожаление, что мимо проходит мало женщин, значительно ослабло – в конце концов, женщины знают цену деньгам, из них лишнего шиллинга не вытянешь! Вот если бы еще прошел такой вот старый миллионер в блестящем цилиндре!

В шесть часов, заработав три шиллинга восемь пенсов, из которых ровно половину дал Сомс, Бикет стал присоединять к собственным своим вздохам еще вздохи шаров, из которых он выпускал воздух; развязывая их с трогательной заботой, он смотрел, как его радужные надежды сморщиваются одна за другой, и убирал их в ящичек лотка. Взяв лоток под мышку, он устало поплелся к Блэкфрайерскому мосту. За целый день он может заработать четыре-пять шиллингов. Что же, это как раз не даст им умереть с голоду, а тут, глядишь, что-нибудь и подвернется! Во всяком случае, он сам себе хозяин – ни перед нанимателем, ни перед союзом отчитываться не надо. От этого сознания и от того, что он с утра ничего не ел, он ощущал какую-то странную легкость внутри.

«Может, это был какой-нибудь олдермен, – подумал он. – Говорят, эти олдермены чуть ли не каждый день едят черепаховый суп».

Около дома он забеспокоился: что ему делать с лотком? Как скрыть от Викторины, что он вступил в ряды «капиталистов» и провел весь день на улице? Вот не повезло: стоит у окна! Придется сделать веселое лицо. И он вошел, посвистывая.

– Что это, Тони? – Она сразу увидела лоток.

– Ага! Это? О, это замечательная штука! Ты только погляди!

И, вынув оболочку шара из ящичка, он стал его надувать. Он дул с такой отчаянной силой, с какой никогда еще не дул. Говорят, что эту штуковину можно раздуть до пяти футов в обхвате. Ему почему-то казалось, что, если он сумеет это сделать, все уладится. От его усилий шар раздулся так, что заслонил Викторину, заполнил всю комнатку – огромный цветной пузырь. Зажав отверстие двумя пальцами, он поднял его.

– Гляди, как здорово! Неплохая вещь, и всего шесть пенсов, моя старушка! – И он выглянул из-за шара.

Господи, да она плачет! Он выпустил из рук проклятую «штуковину»; шар поплыл вниз и стал медленно выпускать воздух, пока маленькой сморщенной тряпочкой не лег на потертый ковер. Бикет обхватил вздрагивающие плечи Викторины, заговорил с отчаянием:

– Ну, перестань, моя хорошая, ведь это же как-никак наш хлеб. Я найду работу – нам бы пока перебиться. Я для тебя и не на такое готов. Ну, успокойся, дай мне лучше чаю – я до того проголодался, пока надувал эти штуки...

Она перестала плакать и молча посмотрела на него – загадочные огромные глаза! О чем-то, видно, думает. Но о чем именно, Бикет не знал. Он ожил от чая и даже стал хвастать своей новой профессией. Теперь он сам себе хозяин! Выходи когда хочешь, возвращайся когда хочешь, а то полеживай на кровати рядом с Вик, если неохота вставать. Разве это плохо? И

Бикет ощутил в себе что-то настоящее, чисто английское: почувал ту любовь к свободе, беспечность, неприязнь к регулярной работе, ту склонность к неожиданным приливам энергии и к сонной лени и жажду независимости – словом, то, в чем коренится жизнь всей нации, что породило маленькие лавчонки, мелкую буржуазию, поденных рабочих, бродяг, которые сами себе владыки, сами распределяют свое время и плюют на последствия; что-то, что коренилось в стране, в народе, когда еще не пришли саксы и не принесли свою добросовестность и свое трудолюбие; что-то такое, от чего рождалась вера в разноцветные пузыри, что требовало острых приправ и пряностей, без основного питания. Да, все эти чувства росли в Бикете, пока он уничтожал копченую рыбу, запивая крепким горячим чаем. Конечно, он лучше будет продавать шары, чем упаковывать книги, – пусть Вик так и запомнит! А когда она сможет взять работу, они совсем замечательно заживут и, наверно, скоро смогут накопить денег и уехать туда, где водятся синие бабочки. И он рассказал ей о Сомсе. Еще несколько таких бездетных олдерменов – ну, скажем, хоть два в день, – вот тебе и пятнадцать монет в неделю, кроме законной прибыли. Да ведь тогда они через год скопят всю сумму! А стоит им уехать отсюда, и Вик станет круглень, как этот шар; наверно, станет вдвое толще, а щеки у нее будут такие розовые, такие яркие – куда там этим красным и оранжевым шарам!

Бикет вдохновлялся все больше и больше, а маленькая его жена смотрела на него своими огромными глазами и молчала. Но плакать она перестала: ни слезами, ни упреками она не стала охлаждать пыл бедного продавца воздушных шаров.

## ХII

### Цифры и факты

Кроме старого лорда Фонтеноя, блиставшего своим отсутствием, как блистал, бывало, своим присутствием, правление собралось в полном составе. Заметив, что «этот тип», Элдерсон, как-то особенно лебезит, Сомс приготовился к неприятностям. Цифры лежали перед ним – довольно бесцветные данные о состоянии дел, которые были бы приемлемы только в том случае, если бы в ближайшие полгода положение с валютой не изменилось. Отношение иностранных контрактов к отечественным определялось как 2:7. Германия, контракты которой составляли главную массу иностранных дел, попала, как заметил Сомс, в категорию лишь наполовину разоренных стран. Итоги были выведены достаточно осторожно.

Пока члены правления в полном молчании переваривали цифры, Сомс яснее, чем когда-либо, видел, в какой попал переплет. Конечно, эти цифры вряд ли могут оправдать задержку дивидендов, полученных от операций прошлого года. Но предположим, что на континенте опять произойдет катастрофа и им придется отвечать по всем их иностранным контрактам. Ведь это поглотит все прибыли дел отечественных, а может, и больше. И потом, еще эта неприязнь по отношению к самому Элдерсону, неизвестно на чем она основанная: то ли интуиция, то ли просто блажь.

– Ну, вот и цифры, мистер Форсайт, – заговорил председатель. – Вы удовлетворены?

Сомс взглянул на него и принял твердое решение.

– Я соглашусь на выплату дивидендов этого года с условием, что мы на будущее время решительно и категорически откажемся от этих иностранных дел.

Взгляд директора-распорядителя, пронзительный и холодный, остановился на нем и потом обратился на председателя.

– Это пахнет паникой, – проговорил он, – иностранные дела дали нам добрую треть доходов этого года.

Прежде чем ответить, председатель посмотрел на выражение лица каждого из членов правления.

– В настоящий момент положение за границей не дает никаких оснований бить тревогу, мистер Форсайт. Я согласен, что нам надо внимательно следить за ним...

– Вы не имеете такой возможности, – прервал Сомс. – Прошло четыре года со дня заключения мира, и мы знаем не больше, чем тогда. Если бы я знал, что общество имеет отношение к этим делам, никогда не вошел бы в правление. Надо это прекратить.

– Довольно резкое мнение. И пожалуй, трудно будет сейчас что-нибудь решить.

Ропот одобрения, чуть ироническая улыбка на губах «этого типа» еще больше укрепили упорство Сомса.

– Отлично! Если вы не согласны объявить пайщикам, что мы прекращаем всякие дела с заграницей, я выхожу из правления. Я должен иметь полную возможность поднять этот вопрос на общем собрании.

Он заметил беспокойный косой взгляд директора-распорядителя. Ага, попал не в бровь, а в глаз!

Председатель заговорил:

– Вы приставили нам револьвер к виску.

– Я отвечаю перед пайщиками, – ответил Сомс, – и выполню свой долг по отношению к ним.

– Мы все ответственны, мистер Форсайт, и, я надеюсь, исполним свой долг.

– Отчего бы не ограничить иностранные контракты малыми странами? Их валюта достаточно устойчива.

Старый Монт со своим драгоценным «рингом»!

– Нет, – отрезал Сомс, – надо вернуться к надежным делам.

– Гордое одиночество, Форсайт, а?

– Вмешиваться можно было во время войны, а в мирное время, будь то в политике или в делах, это полувмешательство ни к чему не ведет. Мы не можем контролировать положение дел за границей.

Он посмотрел на окружающих, сразу увидел, что этими словами задел какую-то струну, и подумал: «Кажется, пройдет!»

– Я буду очень рад, господин председатель, – заговорил директор-распорядитель, – если вы мне разрешите сказать несколько слов. Дело было начато по моей инициативе, и я могу утверждать, что до сих пор оно принесло обществу значительную выгоду. Но если один из членов правления столь резко возражает против этих дел, я, разумеется, не буду настаивать, чтобы правление продолжало вести их. Время сейчас действительно ненадежное, и, конечно, мы несколько рискуем, даже при столь осторожных оценках, как у нас.

«Что такое? – подумал Сомс. – Куда он гнет?»

– Это очень благородно с вашей стороны, Элдерсон. Господин председатель, я полагаю, что мы можем отметить, как это благородно со стороны нашего директора-распорядителя.

Ага, эта старая мямля! «Благородно»! Старая баба!

Резкий голос председателя нарушил молчание:

– Речь идет об очень серьезном вопросе, о всей нашей политике. Я считал бы необходимым присутствие лорда Фонтеня.

– Если вы хотите, чтобы я подписал отчет, – резко сказал Сомс, – то решение надо принять сегодня. Я остаюсь при своем убеждении. А вы поступайте, как вам будет угодно.

Он бросил последнюю фразу из сочувствия к остальным – все-таки неприятно, когда вас к чему-то принуждают! Наступило минутное молчание, и тотчас все стали обсуждать вопрос с тем намеренным многословием, которым пытаются смягчить уже навязанное решение.

Прошло четверть часа, прежде чем председатель объявил:

– Итак, мы постановили, господа, объявить в отчете, что ввиду неустойчивого положения на континенте мы пока прекращаем страхование иностранных контрактов.

Сомс победил и вышел из зала успокоенный, но растерянный.

Да, он выдержал характер; их уважение к нему явно возросло; их приязнь – если она вообще существовала – явно уменьшилась. Но почему Элдерсон так изворачивался? Сомс вспомнил беспокойный косой взгляд стальных глаз директора при намеке на то, что вопрос будет поднят на общем собрании.

Это его задело! Но почему? Неужели он подделал цифры? Не может быть! Слишком трудно было бы обмануть бухгалтеров. Если Сомс кому-нибудь верил, так это бухгалтерам. Сэндис и Дживон – неподкупные люди. Нет, не то! Он поднял глаза. Купол Святого Павла уже призрачно затуманился на вечеряющем небе – и ничего ему не посоветовал. Сомсу мучительно хотелось с кем-нибудь поговорить, но никого не было и он пошел быстрее среди торопливой толпы. Засунув руку глубоко в карман, он вдруг нащупал что-то постороннее, липкое. «Боже, – подумал он, – эта ерунда! Бросить их в водосток? Вот будь у них ребенок, было бы кому отнести шары. Надо заставить Аннет поговорить с Флер». Он знал по собственному давнишнему опыту, к чему приводят скверные привычки. А почему бы ему самому не поговорить с ней? Сегодня он там ночует. Но тут его охватило какое-то беспомощное сознание своего неведения. Эта нынешняя молодежь! О чем они, в сущности, думают, что чувствуют? Неужели Старый Монт прав? Неужели они не интересуются ничем, кроме настоящего момента, неужели не верят в прогресс, в продолжение рода? Правда, Европа в тупике. Но разве не то же было после наполеоновских войн? Он не мог помнить своего деда, Гордого Доссета: старик умер за пять лет до его рождения, – но отлично помнил, как тетя Энн, родившаяся в 1799 году, часто рассказывала об «этом ужасном Бонапарте – мы звали его Бонапартишкой, мой милый», о том, как ее отец получал от восьми до десяти процентов дохода и какое впечатление «эти чартисты» произвели на теток Джулию и Эстер, – а ведь это было много позднее. И все же, несмотря на это, вспомните эпоху Виктории! Золотой век, когда стоило собирать вещи, заводить детей. А почему бы не начать снова? Консоли поднимаются непрерывно с тех пор, как умер Тимоти. Даже если и рай и ад отменены, нет оснований не жить как прежде. Ведь ни один из его дядей не верил ни в рай, ни в ад, однако они разбогатели, все имели семьи, кроме Тимоти и Суизина. Нет! Рай и ад ни при чем! В чем же тогда перемена, если только она действительно существует? И вдруг Сомсу стало ясно, в чем дело. Эти, нынешние, все слишком много говорят; слишком много и слишком быстро! У них от этого скоро пропадет интерес ко всему на свете. Они высасывают жизнь и бросают кожуру, и... кстати, надо непременно купить эту картину Джорджа!.. Неужели молодежь умнее его поколения? А если так, то чем это объяснить? Может быть, их питанием? Этот салат из омаров, которым Флер накормила его в воскресенье! Он съел его – ужасная гадость! – но от этого не стал разговорчивее. Нет, наверно, дело не в питании. И потом вообще – ум! Да где же теперь такие умы, которые могут сравниться с викторианцами – с Дарвином, Гексли, Диккенсом, Дизраэли, даже со стариком Гладстоном? Да он сам еще помнил судей и адвокатов, которые казались гигантами по сравнению с нынешними, так же как помнил, что его отцу Джемсу судьи, которых он знал в молодости, казались гигантами по сравнению с современниками Сомса. Если судить по этому, ум постепенно вырождается. Нет, здесь что-то другое. Сейчас в моде такая штука, называемая психоанализом, по которой выходит, что поступки людей зависят не от того, что они ели за завтраком или с какой ноги встали с постели, как считалось в доброе старое время, а от какого-то потрясения, испытанного в далеком прошлом и абсолютно забытого. Подсознание? Выдумки! Выдумки – и микробы! Просто у этого поколения пищеварение скверное. Его отец и дядя вечно жаловались на печень, но никогда с ними ничего не случилось и никогда им не были нужны все эти витамины, искусственные зубы, психотерапия, газеты, психоанализ, спиритизм, ограничение рождаемости, остеопатия, радиовещание и прочее. «Машины! – подумал Сомс. – Вот в чем, вероятно, дело! Как можно во что-нибудь верить, когда все так вертится? Да тут и цыплят не пересчитать – так они бегут! Но у Флер умная головка и французские зубы: все может разгрызть. Два года! Надо поговорить

с ней, пока эта привычка не укоренилась. Ее мать так не медлила!» И, увидев перед собой подъезд «Клуба знатоков», он вошел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.